Елена Копс



Вторая партия

Реставратор тишины



Детективный роман

Елена Копс

Вторая партия. Реставратор тишины

«Автор»
2026

Копс Е.

Вторая партия. Реставратор тишины / Е. Копс — «Автор», 2026

Вся жизнь альтистки Варвары Мироновой была «второй партией» — пока звонок из Петербурга не дарит шанс занять место первого альта в большом оркестре. Но ради прослушивания ей впервые приходится солгать любимому человеку, не подозревая, что и у Николая есть своя петербургская тайна.В городе на Неве Варвара попадает в Музей музыкальных инструментов на Мойке, где дочь Николая, Даша, реставрирует венецианский клавесин XVIII века. Под старым лаком может скрываться тайник, за которым охотятся коллекционеры. А когда заведующего мастерской, называвшего себя «реставратором тишины», находят мёртвым в запертом хранилище, Варваре предстоит расслышать правду там, где все предпочитают молчать.Четвёртая книга из пяти в серии «Вторая партия» — атмосферный музыкальный детектив о доверии, тайнах прошлого и смелости зазвучать в полную силу.

© Копс Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 22
Глава 3 38
Глава 4 52
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Елена Копс
Вторая партия. Реставратор тишины

Глава 1

Апрель начался с капели. Она пошла во вторник на рассвете, тихо, без разгона: сначала одна капля, потом две, потом сразу сто, и к среде вся крыша дачи звенела так, как не звенела ни разу за зиму. Новый лист над мансардой, тот самый, что поставил Николай Андреевич в ноябре, с первым солнцем стал отзываться на каждую каплю по отдельности, и Варвара, проснувшись в начале седьмого, лежала и слушала, как над головой, высоко и ясно, срываются ноты, неровные, торопливые, весёлые, будто кто-то пробегает пальцами по клавишам без всяких правил. Фа-диез. Соль. Опять фа-диез. Она давно перестала удивляться тому, что считает капли. В этом доме считали всё: дрова, ступеньки, кошек, чужие шаги.

На кухне пахло кофе. Эмилия Карловна стояла у плиты в серой кофте до колен и варила его в медной турке с длинной ручкой, держа её над синим огоньком двумя пальцами, как держат пробирку, и по тому, как она держала, Варвара сразу заметила перемену, к которой за зиму привыкла и всё равно каждый раз отмечала про себя: правая рука больше не пряталась в кармане. Она дрожала, тонко и часто, но дрожала на виду, и тётя, кажется, сама перестала это замечать. Мундштук с погасшей сигаретой лежал на блюдце. Сигарет в день полагалось две, обе после двенадцати, и это правило соблюдалось всегда.

– Он уехал в половине седьмого, – сказала она, не оборачиваясь. – Оставил записку.

Записка лежала под фарфоровой чашкой с розочками, и Варвара прочла её стоя, с куском вчерашнего пирога в руке. Мелкий прямой почерк, вырванный из блокнота лист в клетку.

«Стол везём к одиннадцати. Раньше не приходи. Н. Р.»

– Он написал «не раньше», – сказала Варвара. – Это как «не смотри».

– Это именно «не смотри», – согласилась Эмилия Карловна. – Он не умеет врать, поэтому приказывает. Три месяца в сарае по ночам, а теперь «не раньше». Ты не умеешь делать вид, что не знаешь, и он это понимает.

– Откуда ты знаешь про сарай?

– Фуга ходила проверять. Вернулась с опилками на хвосте.

Кошка Фуга сидела на холодильнике и смотрела на Варвару единственным зелёным глазом с выражением председателя комиссии, которой всё известно и которая ничего не скажет. Пёс Бемоль лежал под столом, свернувшись бубликом, и во сне перебирал лапами, а кота Боцмана на подоконнике не было: с марта он ночевал то на «Герде», то в Тарусе у Зинаиды Петровны, то в дровнике, и возвращался в дом только к завтраку, с важным видом человека, у которого были дела. Варвара налила кофе, сунула ноги в тётины галоши и вышла на крыльцо.

Воздух стоял мягкий, мокрый, пахнущий землёй. Снег, лежавший в саду всю зиму до подоконников, осел и потемнел, в яблонях стоял слабый сизый дым, как бывает над почками

перед самым цветением, а вдоль забора, по склону оврага, бежали вниз тонкие блестящие ручьи. За ночь с крыльца слизало всё, и ступеньки, которые в январе откапывали лопатой, лежали голые, чуть парящие на солнце. Она остановилась и несколько секунд просто дышала. Хорошо, подумала она. Это слово, давно стёртое, редко теперь приходило само, и она не стала его проверять.

Калитка у оврага была открыта нараспашку. Ефим вынул из неё три доски в ноябре, и с тех пор тропа, которой тридцать лет никто не ходил, превратилась в настоящую дорогу: утоптанную, с кирпичной крошкой по краям и узкими мостками через самые глубокие лужи. По ней в то утро, когда Варвара шла к школе, навстречу ей тянулась цепочка детей с футлярами, и каждый, поравнявшись, кричал: «Здравствуйте, Варвара Сергеевна!», и каждый кричал это по-разному: кто-то с удовольствием, кто-то с ужасом, кто-то с набитым ртом.

Дом Верещагиных к апрелю перестал быть домом и ещё не стал школой, а стоял посередине. Над парадной дверью висела бронзовая табличка, ещё не потемневшая, с рельефными буквами: «Детская музыкальная школа имени Г. А. Верещагина». В прихожей пахло краской, сырой штукатуркой и мокрыми куртками, и на вешалке, рассчитанной на пять человек, висели сорок детских пальто разной степени потрёпанности. В большой гостиной белые чехлы с кресел давно сняли, и кресла стояли теперь вдоль стены ровным рядом, как родственники на утреннике. Рояль, завещанный Эмилии Карловне, остался на своём месте, у среднего окна: она передала его школе в бессрочное пользование, «до тех пор, пока на нём играют», и два раза в неделю сама садилась за него, брала в класс только тех, у кого, по её словам, уши лучше родителей, и занималась с ними обеими руками. Над камином по-прежнему висел портрет усталого мужчины с большими ушами и альтовым футляром. Варвара каждое утро кивала ему, проходя мимо, и не могла объяснить, зачем.

В коридоре второго этажа она столкнулась с директором.

Вениамин Павлович Остапенко, бывший завуч тарусской школы искусств, человек лет пятидесяти пяти в бежевом пиджаке с кожаными заплатами на локтях, назначенный на должность после трёх недель переговоров между Дымовым и городской администрацией, шёл по коридору быстро и осторожно, прижимаясь к стене, как ходят люди, которые боятся, что их кто-нибудь окликнет. Увидев Варвару, он остановился, вздохнул с облегчением и сказал шёпотом:

– Она у себя?

– Кто?

– Нина Георгиевна.

– Она в вокальном классе. Распеваются.

– Слышу, – сказал Остапенко и перекрестился одним пальцем, быстро, как будто стряхивал муху.

Сквозь стену слышалось, как дети хором тянут «Во поле берёза стояла», а над ними, ровным тихим голосом, с великолепной паузой после каждой строки, звучит чей-то другой голос: «Не тяните, милые. Вы не покойника отпеваете. Вы русскую берёзу воспеваете. Это

в корне иное». Нина Георгиевна Печорская вела вокальный класс третий месяц и успела за это время добиться того, чего не добивался в тарусских школах никто: дети перестали выть. Они пели. Правда, директор при её появлении неизменно вспоминал, что ему нужно срочно позвонить в администрацию.

– У вас сегодня сорок минут в оранжерее, – сказал он, сверяясь с бумагой. – Ефим Кузьмич согласовал. Среда, полив.

– Знаю.

– Вы, Варвара Сергеевна, не забудьте. Дети любят там заниматься. Хоть мы и нарушаем все нормы. Влажность, температура, рояль, которого там нет, зато лимоны. – Он вдруг улыбнулся. – Но Борис Аркадьевич сказал, что лимоны можно считать акустическим оформлением. Он у нас юридически изобретателен.

Оранжерея в первых числах апреля светилась изнутри так, будто в стеклянной постройке горело невидимое солнце. Варвара вошла через южную дверь, и тёплый влажный воздух, пахнущий кожурой, землёй и тёплым железом, ударил в лицо знакомой волной. Печь в углу гудела на ровной басовой ноте. Над стеклянной крышей, ещё мокрой после ночи, плыли обрывки белых облаков, и в центре, у большого дерева с потемневшей бирочкой «Георгий», сидел на корточках Ефим Кузьмич и поливал из медной лейки с длинным носиком, медленно, тонкой прямой струёй, по одному ковшу на дерево. Он был в ватнике, в кепке, с красными, чуть потрескавшимися руками и такой неподвижной, спокойной сосредоточенностью, что Варвара остановилась в дверях, чтобы не помешать.

– Не мешаете, – сказал он, не оборачиваясь. – Проходите. Дети уже там.

Дети сидели у железного стола в нише, где тёплым ноябрьским днём Ираида Львовна принимала гостей. Теперь вокруг стола, на плетёных креслах и табуретках, расположились четверо: Тихон Рыжов, одиннадцати лет, коротко стриженный, с исцарапанными руками и скрипкой, которая выглядела на нём слишком большой; девятилетняя Алёна Ведерникова, тонкая, с косичками, прижимавшая к груди школьный альт, как прижимают любимую куклу; и две сестры-близняшки, Катя и Ксюша, которые на двоих делили одну виолончель и вторую неделю ссорились, кому сегодня первой. Тихон, как выяснилось, каждую пятницу ходил к Ефиму на пасеку, и от его рук шёл такой густой запах воска и мёда, что Варвара поневоле вспоминала Ларису, и каждый раз прогоняла это воспоминание, как прогоняют осу.

– Здравствуйте, – сказала она. – Начнём с открытых струн. Тихон, ты первый.

Тихон играл громко, напористо, с таким усердием, что на лбу у него выступили капли. Две первые струны вышли чисто, на третьей смычок сорвался, и скрипка издала жалобный скрип.

– Извините, – сказал он.

– За что?

– За скрип.

– Скрип не твой, – сказала Варвара. – Это волос на смычке. Он старый. Ты просто его слушал.

– А мне Нина Георгиевна говорит, что скрипачи должны уметь извиняться.

– Нина Георгиевна поёт, а не играет. Играть можно без извинений. Ноты не твои, их написал композитор. Ты их просто несёшь.

Она сказала это и вдруг, на середине фразы, поймала себя на том, что слышит чужой голос: сухой, хрипловатый, с оттенком усталого раздражения, голос женщины в дымчатой шали, которая тридцать лет назад сказала ей то же самое про Хиндемита. Ольга Марковна. В январе она, оказывается, переехала в Петербург, к дочери, и прислала открытку на красивой бумаге: «Дорогая Варя, говорят, ты теперь учишь детей. Не учи их извиняться. О. Р.» Варвара тогда засмеялась и прикрепила открытку магнитом к холодильнику.

Алёна играла последней. Она вышла вперёд, чуть склонив голову, и открытая ля на её альте прозвучала так тихо и так чисто, что даже близняшки замолчали. Ефим у «Моцарта» поднял лейку, прислушался. Потом девочка опустила смычок и, густо покраснев, сказала:

– Простите.

– За что? – спросила Варвара.

– Не знаю. Просто так.

– Сыграй ещё раз. Только не прося прощения. Просто ля.

Алёна сыграла. Пауза, ровный длинный звук, потом тишина, и в этой тишине капля с крыши оранжереи упала на железный подоконник и звякнула, высоко, на фа-диез. Варвара засмеялась, не удержавшись, и дети засмеялись тоже, не понимая чему.

Ровно в одиннадцать на дорожке перед домом заурчал мотор.

Грузовик, старый, синий, с кузовом, обитым зелёным брезентом, подъехал к крыльцу задом, чихнул и замер, и из кабины, хлопнув дверцей, выскочил долговязый парень в брезентовой куртке, с веснушчатым лицом и рыжей чёлкой, торчавшей из-под вязаной шапки. Костя вырос за зиму на целую голову. На «Герде» он когда-то носил тельняшку, как мундир, а теперь, как оказалось, учился на втором курсе речного техникума, ходил по Тарусе с зачёткой под мышкой и с видом человека, которому поручили государственную тайну.

– Варвара Сергеевна! – закричал он ещё из-за дверцы. – Не смотрите! Мы ещё не вынесли!

– Я не смотрю!

– Вы в окно смотрите!

Она отступила от окна в классе, но не слишком далеко. Во дворе, у кузова, происходило движение: из кабины вылез Николай Андреевич в серой куртке, с непокрытой головой, с пра-

вой рукой, которая за три месяца зажила, оставив на ладони тонкий розовый шрам вдоль линии жизни. Он обошёл грузовик, откинул борт, и Варвара увидела то, что лежало в кузове.

Стол был огромный. Дубовый, тёмный, с широкой гладкой столешницей, на которой даже издали видны были длинные тёплые волокна дерева, и с двумя тумбами по бокам, обитыми по углам латунью. Его завернули в одеяла и прикрутили верёвками, но один угол вылез, и в нём блеснула красноватая, густая, живая древесина, на которой плясали солнечные пятна. Рядом, придерживая стол обеими руками, как придерживают больного, стоял Ефим, который каким-то образом уже успел бросить лейку и оказаться во дворе. Они втроём подняли этот стол, Костя спереди, Ефим сзади, Николай Андреевич сбоку, и понесли к крыльцу, ступая по скользкой кирпичной крошке тяжело, в ногу, как носят то, что нельзя уронить.

– Осторожнее на повороте! – раздалось из окна второго этажа. – Это не гроб, а письменный стол!

Нина Георгиевна Печорская наблюдала за доставкой с высоты своего класса, в бордовом бархатном жакете, с лорнетом на длинной ручке, приставленным к глазу, и голос её, великолепно поставленный, разносился над двором, как над сценой. Дети прилипли к стёклам. Костя, не поднимая головы, пробормотал что-то вроде «слушаюсь», и все трое, сделав на крыльце поворот так аккуратно, что стол ни разу не задел косяка, скрылись в доме.

Варвара не выдержала. Она отпустила детей на перемену, вышла в коридор, пошла следом по лестнице, держась на расстоянии, и остановилась в дверях кабинета, который отвели ей на втором этаже: небольшая, светлая, с окнами на оранжерею комната, пахнувшая свежей побелкой. До сегодняшнего утра здесь стоял письменный стол из школьного фонда, обшарпанный, на трёх ножках и подставке из кирпича, и два стула. Теперь они стояли в углу, а посередине, у окна, на выбранном точно месте, возвышалось нечто огромное и тёмное.

Её стол стоял так, как стоят вещи, сделанные для определённого места. Под окном, чтобы свет падал слева. Столешница широкая, в метр с небольшим, покрытая тонким слоем масла, на котором играли тёмно-красные и золотистые волокна. По краю шла узкая фаска, выведенная так ровно, будто её проводили по линейке. Тумбы с четырьмя ящиками каждая, и на каждом ящике латунная ручка, потёртая, старая, с узором из морских канатов. Она провела ладонью по столешнице. Дерево было тёплым, живым, чуть шершавым.

– Дуб, – сказал Костя из-за плеча. Он стоял у двери, красный, довольный, с тряпкой в руках. – Это не мебельный. Это старый. С «Герды». В две тысячи восьмом, на городецкой верфи, когда настил меняли, Николай Андреевич доски на складе сохранил. Мы с Пал Палычем их в Тарусу перевозили. Он их потом три месяца сушил, а потом по ночам строгал. В сарае. Зинаида Петровна говорит, он вообще перестал спать.

– Костя.

– Что?

– Не надо.

– Я только...

– Я знаю. – Она улыбнулась. – Спасибо, что помогли.

Он ушёл. Николай Андреевич стоял у окна, спиной к ней, и смотрел на оранжерею. Ефим внизу как раз закончил полив и вынес наружу пустую лейку. Над стеклом поднимался лёгкий пар. Он стоял неподвижно, широкий, чуть сутулый, в расстёгнутой куртке, и по тому, как он держал руки, сцепленными за спиной, было видно, что ему очень хочется что-нибудь сказать и что он не знает что.

– Для нот, – сказал он наконец.

– Что?

– Он для нот. Широкий. Чтобы партитуры не сворачивать.

– Николай.

– Ящики не заедают. Я проверял.

Она подошла и обняла его сзади, прижавшись лицом к шершавой куртке, пахнувшей смолой, дымом и свежей стружкой. Он стоял неподвижно. Потом осторожно, не поворачиваясь, положил ладонь поверх её рук.

– Тебе не нужно было, – сказала она в куртку.

– Нужно.

– Он красивый.

– Он просто стол.

– Врёшь.

– Немного.

За дверью тихо, на цыпочках, как проходят мимо спящих, удалился кто-то в мягких ботинках. Варвара засмеялась и, не отпуская, подняла голову: в стекле окна, на фоне стеклянной крыши оранжереи, отражались двое, высокий и поменьше, и сквозь них проступали лимонные деревья с жёлтыми плодами.

Он уехал в начале первого. «Герда» на тарусской пристани, с которой ещё не сняли зимнюю плёнку, требовала его присутствия: в тот день к ней должен был прийти человек из речной инспекции и проверять переборки, а Пал Палыч, оставленный без присмотра, имел обыкновение в такие минуты разговаривать с котлами. Варвара проводила его до крыльца, помахала грузовику, и когда синий кузов скрылся за поворотом, вернулась в кабинет и села за стол.

Сидеть за ним оказалось странно. Кресло, тоже новое, низкое, с мягкой спинкой, приняло её так, будто знало размер. Ладони легли на дубовую столешницу сами собой, плашмя, и она долго сидела так, не двигаясь, слушая, как в стеклянной оранжерее за окном шелестит лейка, как тикают где-то в доме часы, как на втором этаже Нина Георгиевна поёт «Во поле берёза»

уже без детей, для себя, с великолепной вибрирующей паузой после слова «стояла». Потом она осторожно, по очереди, открыла ящики. В правом верхнем лежала чистая бумага, пачка карандашей и точилка. В левом, нижнем, где обычно хранят самое нужное, она нашла то, чего не ожидала.

Это был не ящик, а длинное узкое отделение, спрятанное в глубине, шириной в ладонь, с отодвигающейся крышкой, которую можно было заметить только если знать. Она нащупала его, когда проводила рукой по дну нижнего ящика: под пальцами прошла тонкая щель. Внутри лежал сложенный вчетверо листок из блокнота в клетку.

«Ящики не заедают. Проверял. Н. Р.»

Она прочла и тихо, сдавленно, засмеялась. Потом смех прошёл и осталось что-то другое: тёплое и очень тяжёлое, как горячий камень под ладонью. Ящик для записок. Десять лет в крышке альтового футляра жили чужие бумажки, и тот карман был пустым с самого Нижнего. А этот, длиной в ладонь, ничего не требовал и пока был занят только одним листком, и она знала, что в нём будет ещё.

Телефон на столе зазвонил, когда она держала листок в руке.

Номер был незнакомый. Она перевернула аппарат, чтобы посмотреть, и увидела код: восемь-один-два. Петербург. Первую секунду она не поняла, потом поняла сразу, и сердце, до этой минуты ровное, спокойное, пошло вскачь, как лошадь, которой ударили по бокам. «Резников», – подумала она. Он ведь говорил в январе, на кухне валдайской усадьбы: «Он позвонит». Три месяца никто не звонил. Она решила, что забыли.

– Алло.

– Миронова Варвара Сергеевна? – спросил низкий хрипловатый голос, густой, как кофе с гущей.

– Да.

– Глинка. Александр Николаевич. Нет, не тот. Тот был Михаил Иванович и умер в Берлине, а я Александр Николаевич и пока жив, что для главного дирижёра городского оркестра уже достижение.

Она не сразу нашла, что ответить. Это была манера, к которой в оркестровой среде привыкаешь с первой минуты: человек извиняется за свою фамилию раньше, чем кто-нибудь успеет пошутить.

– Здравствуйте, – сказала она.

– Здравствуйте. Мне передавал ваш телефон Дмитрий Олегович. Ещё в январе. Я не позвонил, потому что не знал, будет ли место. Теперь знаю. У нас первый альт, Лев Маркович Ротенберг, уходит в июне. Сорок один год за пультом. Имеет право на дачу и на то, чтобы его перестали будить по утрам репетициями. Конкурс будет закрытый. Три претендента из консерватории и один из Москвы. Вы четвёртая, по рекомендации, что в нашем деле, как правило,

хуже, чем без рекомендации. Но Дмитрий Олегович сказал одну вещь, которая меня заинтересовала. Он сказал, что вы слышите лучше, чем играете.

– Это комплимент? – спросила Варвара.

– Это загадка. Играете вы, мне передавали, тоже неплохо. Хочу проверить, насколько неплохо. – В трубке что-то зашуршало, видимо, бумаги. – Прослушивание семнадцатого апреля, четверг, одиннадцать ноль-ноль. В репетиционном зале на Васильевском острове. Программа простая: первая часть Концерта Уолтона, любая часть сюиты Баха на ваш вкус и оркестровые соло. Список я пришлю на почту. «Гарольд в Италии», «Дон Кихот», ещё две-три мелочи. Обычный репертуар.

– Я не знаю, смогу ли.

– Вы работаете?

– Я заведую струнным отделением в детской музыкальной школе. В Тарусе.

– Это очень красиво, – сказал Глинка. – Но оркестр, Варвара Сергеевна, не знает слова «отделение». Оркестр знает слово «пульт». Это разные вещи. – Голос его вдруг смягчился, и в нём появилась неожиданная, почти домашняя нота. – Я не уговариваю. Я человек прямой и не люблю, когда ходят вокруг да около, поэтому скажу сразу: места первого альта в городе всего два, в моём оркестре и в филармонии, и оба раз в двадцать лет освобождаются. Если вы просто приедете, сыграете и вернётесь в Тарусу, ничего не потеряете. Погуляете по городу. В апреле Петербург хорош: ещё не сезон, чайки орут, и на Неве лежит лёд. Проезд за наш счёт. Если останетесь, будет служебная квартира на Васильевском. Небольшая, но с окном на Неву.

– Мне надо подумать.

– До четырнадцатого. Потом закроем список. – Он помолчал. – Сколько вам лет?

– Сорок два.

– Прекрасно. Самый нужный возраст для первого альта: уже не боятся и ещё не устали. – В трубке коротко, хрипло кашлянули. – И ещё. Я бы послушал вас в Хиндемите, если вы захотите. Это не в списке, просто мне так интереснее.

– Откуда вы знаете про Хиндемита?

– Не знаю. Просто мне кажется, что каждый альтист в сорок два года должен играть Хиндемита. Или вспоминать, как играл. – Он вдруг засмеялся, коротко, добродушно. – Не отвечайте. Думайте. До четырнадцатого. Всего доброго.

Связь оборвалась. Она долго сидела с телефоном в руке и с листком в клетку в другой. В голове, как бывает после сильного звука, стояла тишина, мягкая, ватная, в которой плавали отдельные слова: «первый альт», «пульт», «Хиндемит». Первый. Всю жизнь она сидела на втором пульте, а на первом, у самого края сцены, ближе всех к дирижёру, вторые ноты уже не играют. Там играют первые.

Она поймала себя на том, что гладит стол.

За окном в оранжерее Ефим, закончив полив, присел у бочки и вытирал руки тряпкой. В жёлтых плодах на «Моцарте» плясали солнечные зайчики. Где-то совсем близко, за стеной, Нина Георгиевна допела строфу, и наступила тишина, и в тишине очень ясно, как на ладони, прозвучала мысль, которой она боялась: «Я не скажу ему». Не сегодня. Пока не решила сама. Слишком свежо стояло в ней утреннее «ящики не заедают», слишком хорошо она знала, как он замолчит, услышав «Петербург», и как будет молчать потом, неделю, месяц, ничего не прося и ничего не требуя, и как от этого молчания будет ей хуже, чем от любого скандала. «Сначала решу, – подумала она. – Потом скажу». Это было разумно. Она так и сказала себе: разумно. И услышала, как слово звучит неправильно, как берёт неточную ноту скрипач в плохом настроении.

Она взяла телефон, открыла переписку с контактом «Н. Р.», где последним стояло январское «Я здесь», и стала писать. «Мне нужно с тобой поговорить». Стёрла. «Ты не поверишь». Стёрла. После долгой паузы она вывела три слова: «Стол чудесный. Спасибо». Нажала на отправку.

Ответ пришёл через минуту. Две строки, как всегда без знаков препинания и без «пожалуйста»: «Не заедает?»

Она засмеялась так, что в соседнем классе кто-то уронил смычок.

Вечер выдался тёплый и тихий, какие бывают в начале апреля, когда день уже длинный, а ночи ещё холодные. За окном кухни догорало небо, розовое с жёлтым, и на яблонях сидели чёрные, мокрые, нахохлившиеся птицы, которые, судя по звукам, обсуждали погоду. В печи ровно гудели дрова. На плите стояла кастрюля с борщом, который Эмилия Карловна называла «кулинарным актом доверия»: сварила она его по рецепту, привезённому Зинаидой Петровной в феврале, и с тех пор готовила каждую субботу, не меняя ни одного ингредиента и не пробуя. Сегодня была среда, но борщ получился такой, что даже Фуга, обычно презиравшая всё, что не рыба, спустилась с холодильника и села возле миски.

Ужинали втроём. Николай Андреевич пришёл в семь, чистый, посвежевший, пахнувший мылом, в сером свитере, с мокрыми волосами, и с ним, как всегда, вошёл Боцман, огромный, серый, с видом хозяина, вернувшегося из командировки. Кот обошёл по очереди все углы кухни, проверил миски, вскочил на подоконник и свернулся, обернув хвост вокруг лап. Эмилия Карловна разливала борщ. Варвара резала хлеб. Разговор шёл ни о чём: про Нину Георгиевну, которая объявила, что к майскому концерту детский хор исполнит «Рябинушку» в её аранжировке, про директора, который два дня прятался в бухгалтерии, про Анну, приезжавшую сегодня на велосипеде с коробкой нот из Москвы и сказавшую, что Герман получил заказ на роспись в театре, и от радости забыл зонт. Лавров, как написал в открытке, сыграл в марте Четвёртую в Москве, под управлением Резникова, и в первом ряду оставили одно кресло пустым.

– Дымов звонил, – сказала Эмилия Карловна, подливая борщ. – Спрашивал, как дела у заведующей. Я сказала: заведует. Он сказал: «Прекрасно. Передайте, что фонд решил выделить деньги на второй этаж». Это значит, что оранжерею будут утеплять.

– Лимоны обрадуются, – сказала Варвара.

– Лимоны вообще не умеют радоваться. Они просто растут.

Николай Андреевич ел молча. Он вообще ел молча, но сегодня в его молчании Варвара уловила что-то новое: не тишину человека, которому нечего сказать, а ту, которая бывает у людей, занятых внутренним разговором. Он дважды отложил ложку, посмотрел в окно, потом в тарелку. Боцман на подоконнике открыл один глаз и снова закрыл.

Звонок раздался в начале девятого. Николай Андреевич достал из кармана телефон, посмотрел на экран, и лицо его на секунду изменилось: не просветлело и не нахмурилось, а как-то собралось, как собирается вода перед порогом.

– Даша, – сказал он. – Я сейчас.

Он вышел в сени, прикрыв за собой дверь, но не плотно: Варвара слышала через щель его голос, тихий, ровный, без нажима. «Да, Дашенька. Нет, пока нет. Я думаю. Нет, не говорил. Не надо». Пауза. «Я сам. Потом. Когда решу». Снова пауза, длиннее. «Нет, она ничего не знает. Не говори. Я скажу сам». Голос его стал ещё тише. «Всё хорошо. Ешь нормально. Я позвоню в воскресенье».

Варвара подняла голову от тарелки. Эмилия Карловна смотрела на неё через стол, и лицо у тётки было такое, какое бывает у человека, который собирается сказать что-то и решает, стоит ли.

– Даша, – сказала Варвара ровным голосом. – Практика. Наверное, про музей. Ей не дают нормально работать.

– Наверное, – сказала Эмилия Карловна.

Он вернулся через пять минут, сел на своё место и взял ложку. Лицо у него было то же, спокойное, ровное, только в углу рта, чуть-чуть, держалась тень, которой раньше не было.

– Даша привет передаёт, – сказал он.

– Как она?

– Хорошо. Работает. Они реставрируют клавесин в музее. XVIII века, итальянский, с Мойки. Ей доверили чистить крышку. Она говорит, счастлива, как слон.

– Слон, – сказала Эмилия Карловна, – животное, которое не умеет быть счастливым. Это метафора безответственная.

– Я передал дословно.

Варвара улыбнулась. Хотела спросить про клавесин, про музей, про Петербург, слова уже стояли на языке, она даже открыла рот. Потом закрыла. Слово «Петербург» повисло в воздухе так отчётливо, что ей показалось: его слышат все, даже кошки. Она взяла хлеб, откусила.

– Хорошо, – сказала она. – Надо бы как-нибудь съездить посмотреть.

Николай Андреевич поднял глаза. Секунду, не больше, он смотрел на неё поверх ложки, и в серых его глазах, спокойных, как вода в заводи, мелькнуло что-то быстрое, не удивление и не радость, а какой-то незнакомый, осторожный интерес. Потом он кивнул.

– Даша обрадуется, – сказал он и опустил глаза.

Они допили чай. После ужина, пока Эмилия Карловна, выгнав всех из кухни «потому что человеческий организм не создан для мытья посуды», гремела тарелками, Варвара вышла на веранду и стала смотреть в темнеющий сад. Цветные стёкла верхних рам, красные, синие, жёлтые, отбрасывали на дощатый пол тёплые квадраты. В саду пахло оттаивающей землёй. Сквозь неплотно прикрытую дверь кабинета, где ночевал Николай Андреевич в первые недели и где теперь стоял его рабочий стол с картами, она увидела, как он сидит на диване, в одной рубашке, с белым прямоугольником в руках. Это был конверт. Плотный, длинный, с аккуратной маркой и штемпелем, и на уголке, в верхнем левом, виднелась печатная надпись: «Санкт-Петербург». Он читал медленно, водя пальцем по строчкам, как читают очень важный документ. Потом сложил листок вдвое, вложил в конверт, спрятал во внутренний карман висевшего на стуле пиджака и вышел из комнаты.

«Практика, – подумала она. – Документы по практике». Так естественно, так просто, что на секунду отлегло. И тут же, следом, пришло другое: странное, цепкое, неприятное ощущение, что она только что сама себя утешила, как утешают детей. «Он тоже что-то скрывает», – сказал в голове чей-то голос, и она прогнала его, как прогоняют осу. У неё самой тоже было что скрывать. Это никак не сходилось с тем, что она при этом вдруг почувствовала облегчение, как будто они оба в чём-то виноваты и потому квиты.

Телефон зазвонил в десять. Тамара.

– Ты что-то скрываешь, – сказала она вместо приветствия.

– Здравствуй.

– Здравствуй. Ты что-то скрываешь. У тебя голос человека, который режет лук и делает вид, что плачет от лука.

– Я не режу лук.

– Тем хуже. – Тамара хмыкнула. – Не говори. Я не выдержу. Я вчера на банкете в «Метрополе» играла «Ёлочку» для директора банка, у него был юбилей, и он плакал в салат, а я думала: вот у моей Вари что-то случилось, и она мне не скажет. Ты же не скажешь?

– Нет.

– Врёшь красиво, но врёшь. – Она вздохнула. – Хорошо. Только предупреждаю: если это связано с мужчиной, я хочу первой. Если с работой, второй. Если с Петербургом, можешь не рассказывать, я догадаюсь.

– Почему с Петербургом?

– Потому что я видела твоё лицо на фотографии, которую Резников выложил в январе. Ты сидела с таким выражением, как будто тебе только что рассказали, что в мире есть что-то кроме Тарусы. – Она засмеялась. – Ладно, не мучаю. Но я здесь, Ватсон. Всегда.

– Я знаю.

– Знаешь, а не звонишь. – И, не дав ей ответить, добавила: – Спокойной ночи. Передавай капитану, что у него хорошие руки. Они у него, говорят, стол сделали?

– Откуда ты...

– Зинаида Петровна. У нас с ней переписка. Я знаю про всё. Спокойной ночи.

Она положила трубку. Варвара стояла на веранде с телефоном в руке и вдруг ясно поняла, что за один день ей позвонили трое, и все трое что-то знали, и никто ничего не сказал напрямую.

Следующие две недели прошли как в густом, тёплом, незаметном тумане.

Она занималась по ночам. Это было единственное время, когда в доме все спали, и можно было закрыть дверь мансарды, поставить на подоконник свечу, чтобы не включать свет, и играть вполголоса, с сурдиной, чтобы не разбудить Эмилию Карловну. Она играла Уолтона. Первая часть его концерта, медленная, горькая, тянущаяся, как долгая улица в сумерках, давалась с трудом: в ней было слишком много воздуха, слишком мало опоры, и каждая фраза, едва начавшись, срывалась в пустоту. Она играла её по часу, по два, пока не немели пальцы. Потом бралась за Баха. Сарабанду из третьей сюиты, спокойную, ровную, шестьдесят ударов в минуту, и в ней, как ни странно, отдыхала. Метроном, подаренный Резниковым, стоял на тумбочке. Иногда, поймав себя на том, что считает, она выключала его и слушала собственное дыхание.

Хиндемита она не трогала.

Это вышло само: она ни разу не взяла в руки ноты, лежавшие на дне футляра, и не объясняла себе почему. Просто в какие-то ночи, около трёх, когда пальцы уже не слушались и свеча догорала, она смотрела на потёртую папку и думала: «Нет. Ещё нет». Хиндемит был не программой, а чем-то другим, как открытое окно в комнате, где давно никто не жил.

Эмилия Карловна заговорила об этом на четвёртую ночь.

Они столкнулись в коридоре, у лестницы, около трёх: Варвара шла вниз за водой в одних носках, с папкой под мышкой, тётя поднималась в халате, с кружкой, и в тусклом свете из окна обе замерли, как застигнутые на месте преступления. Фуга, шедшая за тёткой по пятам, чихнула.

– Это не школьная программа, – сказала Эмилия Карловна.

– Что?

– Уолтон. Я слышала через пол. Две ночи подряд. Людям, которые учат детей играть ля, не нужен Уолтон в три часа ночи.

– Это для себя.

– Конечно. – Тётя отхлебнула из кружки. – Люди всегда играют Уолтона для себя. Особенно перед экзаменом. Я не спрашиваю. Я констатирую, что у тебя на лбу написано «прослушивание», а на пальцах «страшно».

Варвара молчала. Свеча в её руке чуть дрожала.

– Мне нужно к Ольге Марковне, – сказала она наконец. – Она звала. У неё что-то с ногой, ей одиноко, и вообще она переехала, не видела её три года. Я хочу съездить на пару дней, потом заодно к Даше загляну.

– К Ольге Марковне.

– Да.

– В Петербург.

– Да.

– Хорошо, – сказала Эмилия Карловна. – Поезжай.

Она сказала это очень просто, и в голосе её не было ни обиды, ни упрёка, ни даже вопроса. Варвара ждала, что тётя скажет «расскажи». Не сказала. Она посмотрела на неё внимательно, как смотрят на ноты перед тем, как отдать их на исполнение, поправила на ней воротник рубашки одним движением, жёстко, сухо, и добавила:

– Красное платье возьми. Оно придаёт уверенности.

– Для чего?

– Для всего, – сказала Эмилия Карловна и пошла наверх, по скрипучим ступеням, и Фуга, помедлив, потрусила следом. Варвара осталась стоять с папкой под мышкой. «Она знает», – подумала она. И тут же поняла: тётя не знает, она догадывается, а догадываться, это не то же самое, что знать, и в этой разнице у неё хватило милосердия оставить Варваре свободу.

Дни шли. Тринадцатого, в воскресенье, пришла настоящая весна. Утром ударило солнце, горячее, настоящее, и к полудню на крыше дачи не осталось ни одной льдинки. Кошки лежали на крыльце, подставив животы, Бемоль грыз найденный где-то мосол, а в саду, на голых яблонях, появились первые, ещё не раскрывшиеся розовые почки. Николай Андреевич в тот день с утра красил на «Герде» борт. Он вернулся в два, весь в серой краске, пропахший олифой, с пятном на щеке и с таким спокойным видом, будто никаких писем у него в кармане никогда не бывало. Они обедали впятером, потому что Зинаида Петровна приехала с Костей и привезла пирожки с налимом.

– Я в Питер на пару дней, – сказала Варвара, когда подали чай. – К Ольге Марковне. Она давно звала. И к Даше загляну.

Она сказала это ровно, глядя в чашку. Слова прозвучали гладко, чисто, как хорошо выученная фраза. И так же ровно, без пауз, она почувствовала на себе взгляды: тёти, которая размешивала сахар с каменным лицом; Зинаиды Петровны, которая с красными щеками резала пирожок и, кажется, не расслышала; Кости, который удивлённо моргал; и Николая Андреевича.

Он сидел напротив, с кружкой в руках, и смотрел на неё. Секунду, две. Лицо его не изменилось: ровное, спокойное, с ясными серыми глазами. Только пальцы, державшие эмалированный край, чуть сжались и тут же разжались.

– Когда? – спросил он.

– Завтра вечером. Автобус в Серпухов в шесть сорок утра, во вторник.

– Через Москву.

– Да. Поезд до Петербурга днём.

– Это хорошо, – сказал он. – Даша рада будет.

Он помолчал.

– Надолго?

– Дня на три. Может, на четыре. – Она заставила себя поднять глаза. – Если ты не против.

– Я не против.

Он сказал это так просто, что ей стало невыносимо. Она ждала вопроса. Ждала: «Зачем?» «К кому?» «А почему не сказала раньше?» Она бы ответила. Сочинила бы. Но он не спросил. Просто кивнул, отхлебнул чаю и сказал: «Даша любит те мятные пряники, что продаются на Невском. Если будет время».

– Куплю.

– И в Эрмитаж зайди. Не сразу. В шестом зале есть часы с павлином.

– Часы с павлином?

– Механические. Раз в неделю заводят. Мне Даша рассказывала. – Он поставил кружку. – Постарайся попасть.

– Постараюсь.

Больше он не сказал ничего. Но Варвара, прислушиваясь к каждому звуку, как привыкла прислушиваться ко всему, отметила: в его голосе не было ни обиды, ни тревоги, а было что-то ещё, чему она не нашла названия. Тихое, почти облегчённое дыхание человека, которому не пришлось говорить первым.

Утром во вторник на остановке в Тарусе лежал лужами апрель.

Они пришли вдвоём в шесть двадцать пять, по той же дороге, по которой ходили в декабре, только теперь по ней не скрипел снег, а чавкала грязь, и в каждой колее стояло по маленькому небу. Бетонный козырёк с пятнами сырости, жестяное расписание, на котором так и не прибавилось цифр, и позади, через дорогу, магазин с зарешечёнными окнами. На пороге сидела та самая кошка, чёрно-белая. Она уже не прижималась к двери: растянулась на солнышке, свесив одну лапу, и смотрела на людей полузакрытыми, сытыми глазами. Николай Андреевич нёс чемодан и футляр. Она шла рядом, чуть сзади, и несла в кармане куртки пустую руку.

Он поставил вещи у козырька. Постоял, глядя на дорогу, откуда должен был прийти автобус. Лицо у него в утреннем свете было очень спокойное, чуть бледное, с тенями под глазами.

– Ты не спал, – сказала она.

– Спал.

– Врёшь.

– Часа три.

– Опять «Герда»?

– Да.

Они помолчали. Из-за поворота доносился далёкий неровный рокот мотора. Она вдруг подумала, что в декабре стояла здесь же, и он держал её руки в карманах, и она думала, что вот это и есть то, чего ей не хватало всю жизнь. Тогда у неё не было секретов. Теперь были, и она чувствовала их, как чувствуют занозу: не боль, а присутствие.

– Позвони, – сказал он.

– Позвоню.

– Не думай, что нужно каждый день.

– Позвоню каждый день.

– Хорошо.

Он вынул из кармана куртки свёрток, завёрнутый в вафельное полотенце, ещё тёплый.

– Что это?

– Пирожки. Зинаида Петровна передала.

– Она же вчера...

– Печёт на всех. – Он слабо улыбнулся. – Её не остановить.

Из-за поворота выкатился жёлтый облупленный ПАЗик с тёмными занавесками и надписью «Не прислоняться» на боковой двери. Он остановился, фыркнул, дверь открылась с шипением, и на ступеньке, как в прошлый раз, возник лысый водитель с усами, закрывавшими половину лица.

– Ага, – сказал водитель.

Николай Андреевич поднял чемодан, поставил в проходе, поправил футляр. Она поднялась следом. В салоне горел тусклый свет, в нём сидела женщина с кошёлкой и, к её удивлению, старик в ушанке, но без яблока: на коленях у него лежал бумажный пакет с чем-то круглым.

– Ну, – сказал старик, увидев её. – Опять едете.

– Опять.

– На Валдай?

– В Петербург.

– Далеко, – сказал он. – Яблоко будете?

Она взяла. Оно было мелкое, морщинистое, прошлогоднее, с тёмным боком, и пахло погребом и яблоневым цветом, которого ещё не было. Села у окна, прижала футляр к коленям, повернулась.

Он стоял на остановке, высокий, неподвижный, с непокрытой головой, в серой куртке. Не махал, не улыбался. Рядом, свесив из-под козырька белую лапку, на него смотрела кошка. Автобус дёрнулся, шины чавкнули по грязи, и он стал медленно уходить назад. Она смотрела на него в окно, и ей вдруг ужасно захотелось выскочить, крикнуть: «Я не к Ольге Марковне! Я на прослушивание, в оркестр, первым альтом! Я ничего не решила!» Слова подступили к самому горлу и замерли. Она сжала яблоко.

И в этот момент она увидела, как он, повернувшись, достаёт из внутреннего кармана куртки что-то белое, плоское, сложенное вдвое. Конверт. Он развернул его, прямо на остановке, под козырьком, и стал читать, глядя на строчки с тем самым сосредоточенным, внимательным выражением, с каким когда-то смотрел в рубке на карту.

Потом автобус свернул, и остановка с одинокой фигурой исчезла за деревьями.

Она сидела, не двигаясь, с яблоком в руке. В сумке, в боковом кармане футляра, лежала сложенная вчетверо распечатка со списком соло: «Гарольд в Италии», «Дон Кихот», «Бранденбургский, третий». Рядом лежали две бумажки, одна с тремя словами, другая с четырьмя. «Позвони. Н. Р.» «Я здесь». И новая, тёплая, которую она нашла в ящике стола и забрала с собой: «Ящики не заедают. Проверял».

За окном тянулись поля, чёрные, мокрые, с блестящими лужами, в которых отражалось небо. Над ними, в бледной утренней синеве, чертили свои круги первые грачи. Она отвернулась и стала смотреть вперёд, на дорогу, и вдруг, неожиданно для себя, поняла, что впервые за много

лет едет в Петербург не на гастроли, не с оркестром, не к чьей-то свадьбе, а по собственному делу. И что весь этот, пока не ясный, пока страшный, пока невыносимо одинокий путь придётся пройти самой.

Она положила яблоко на колени и достала из футляра альт. Просто подержать.

Глава 2

Поезд пришёл в Петербург в восьмом часу вечера, и первое, что Варвара ощутила, ступив на платформу, был ветер. Он шёл не с залива и не с реки, а откуда-то сверху, широкий, сырой, пахнущий ржавчиной и мокрым камнем, и нёс над вокзальной крышей чаек, которые кричали так, будто делили между собой город и никак не могли договориться. Люди с чемоданами торопливо шли к выходу, пригнув головы, и она, постояв секунду с футляром в одной руке и пластиковым пакетом пряников в другой, пошла следом, потому что остановиться на таком ветру оказалось невозможно: он подталкивал в спину, как подталкивают нерешительных.

Пряники она купила в Москве, на вокзале, в киоске у выхода на перрон, хотя продавщица уверяла, что настоящие продаются только на Невском. Мятные, в белой глазури, по пять штук в коробке, и коробок взяла три. Николай Андреевич, когда говорил про Дашу, сказал «если будет время», и она решила, что лучше купить заранее, чем потом оправдываться. В кармане куртки лежал билет на обратный поезд, который она взяла на воскресенье, на всякий случай, и мятая бумажка со списком оркестровых соло. Ночью в вагоне она так и не заснула.

В зале ожидания, под высоким потолком с лепными розетками, среди скамеек, чемоданов и растерянных иногородних, стояла девушка в жёлтом плаще. Она стояла чуть в стороне, у колонны, прислонившись плечом, и смотрела на выходящих с таким выражением, какое бывает у людей, пришедших за посылкой, которую им не очень хочется получать. Плащ на ней был яркий, цвета подсолнуха, длинный, с поднятым воротником, и от него вся фигура казалась знаменем на ветру. Из-под воротника выбивалась тёмная коса, перекинутая на грудь. Лицо узкое, бледное, с высокими скулами, с тонкими бровями, сведёнными к переносице, и глаза, которые Варвара узнала бы где угодно, потому что видела их каждое утро над белой кружкой без ручки: серые, чуть светлее, чем у отца, и совсем другие. У него они смотрели спокойно, как вода в заводи. У дочери остро, как смотрят на дефект в лаке.

– Варвара Сергеевна, – сказала Даша, оттолкнувшись от колонны. Голос у неё был ниже, чем ожидалось, чуть хриплый, быстрый. – Здравствуйте. Папа сказал встретить. Я встретила.

– Здравствуй. Спасибо. Не стоило...

– Стоило. Вы не знаете города. – Она окинула взглядом футляр, пакет, чемодан на колёсиках. – Дайте чемодан.

– Я сама.

– Я не спрашивала.

Это прозвучало так резко, что Варвара на секунду растерялась. Потом увидела, как у Даши дрогнул рот, и поняла: она не грубит, она просто не умеет иначе. Это тоже было знакомо. Она отдала чемодан. Футляр оставила при себе, и Даша, глянув на него, коротко кивнула, как кивают коллеге, который правильно поступил с инструментом.

Они вышли на площадь. Невский проспект открылся сразу, огромный, прямой, уходящий в сиреневую вечернюю даль, с жёлтыми окнами, мокрым асфальтом и бесконечной цепочкой фонарей, которые только что зажглись и ещё не набрали силу. Ветер нёс по тротуарам

бумажные стаканчики и обрывки афиш. Над крышами висело небо, рваное, сизое, с розовой полосой на западе. Даша шла быстро, размашисто, сунув руки в карманы плаща, и Варвара, догоняя, поймала себя на мысли, что так ходит её отец: чуть наклонившись вперёд, как против течения.

– Это Фонтанка, – говорила Даша, не оборачиваясь. – Мост называется Аничков. На нём кони, четыре штуки, все смотрят в разные стороны. Туристы фотографируются. Я не смотрю. Я смотрю на витрины. Видите вон ту, с гитарой? Лак на грифе потрескался по кракелюру, он называется «паутинка». Красиво, и никто не замечает.

– Я замечу.

– Правда?

– Теперь да.

Даша хмыкнула. Они прошли ещё квартал, и, не оглядываясь, она спросила тоном, каким спрашивают о погоде:

– Как нога у Ольги Марковны?

– Что?

– Нога. Папа сказал, что у неё болит нога и ей одиноко. Вы ехали её навестить.

– Лучше, – сказала Варвара. Слово вышло ровно, чисто, и тут же ей показалось, что оно прозвучало чуть громче, чем нужно. – Ей уже лучше.

Даша кивнула медленно, один раз и Варвара поняла: та не поверила.

– Хорошо, – сказала Даша.

Они шли по Невскому, мимо витрин, в которых отражались фары, и Варвара искоса поглядывала на жёлтый плащ рядом. У Даши было такое лицо, какое бывает у человека, в голове которого щёлкает маленький, ловкий механизм: щёлк, щёлк, щёлк, и всё записывается в особую графу. Она ничего не сказала. Варвара, чувствуя, как затылок заливает жар, подумала: «Она всё поняла». И тут же: «Нет, она просто проверяет». Сколько раз в детстве мать говорила ей то же самое: «Проверяют, а ты не оправдывайся».

На Большой Пушкарской, на Петроградской стороне, в доме с эркером и облупленной жёлтой штукатуркой, они вошли в парадную, пахнущую кошками и старым камнем, и поднялись на пятый этаж по лестнице, которая была шире, чем в московских домах. Лифта не было. Варвара с футляром на плече задыхалась на четвёртом пролёте и отставала, а Даша, с её чемоданом, шла впереди, не замечая тяжести, и на площадках оборачивалась с таким видом, будто ей ничего не стоило подождать.

Дверь открыла сама хозяйка. Ольга Марковна Ревзина стояла на пороге прямая, худая, высокая, в вязаной серой кофте до колен, с короткой белой стрижкой и лицом, которое Варвара помнила до последней морщинки: узким, сухим, с глубокими складками у рта и со светлыми, чуть выцветшими глазами, умевшими пронзить насквозь. В левой руке она держала алюмини-

евую кружку с обугленным донышком, в правой тлела папироса. Никакой палки при ней не было. Она стояла ровно, расставив ноги, как стоят на палубе в качку.

– Наконец, – сказала она.

– Здравствуйте, Ольга Марковна.

– Здравствуйте, Варя. Входите. А это кто?

– Это Даша, – сказала Варвара. – Дочь Николая Андреевича.

– Ага. – Светлые глаза скользнули по жёлтому плащу. – Входите обе.

В узкой прихожей, заставленной нотными шкафами, пахло табаком, лавровым листом и старой бумагой. Даша поставила чемодан, сняла плащ, повесила на гвоздь, и под ним оказался рабочий свитер с вытянутыми рукавами и джинсы, испачканные чем-то серым. Она посмотрела на хозяйку, потом вниз, на её ноги в мягких войлочных тапочках, потом снова на лицо и спросила самым вежливым голосом:

– Ольга Марковна, как нога?

Секунда тишины растянулась на вечность. Варвара почувствовала, как у неё начинают гореть уши. Ольга Марковна медленно затянулась папиросой, выдохнула дым к потолку и, не мигнув, ответила:

– Какая нога?

– Левая. Или правая. Мне сказали, что у вас болит нога.

– Левая, – сказала Ольга Марковна без малейшей паузы. – Прошла.

– Когда?

– Когда узнала, что Варя приезжает. – Она опять затянулась. – Это называется психосоматика. Вы, девушка, в вашем возрасте должны знать: ноги лечат не врачи, а радость.

Даша молча смотрела на неё. В серых глазах мелькнуло что-то быстрое, внимательное, ироничное, как мелькает в хорошем игроке в преферанс, увидевшем, что противник сходил не с той масти. Она не сказала «ага». Она просто кивнула, медленно, один раз, как кивают, принимая к сведению, и повернулась к Варваре.

– В десять утра у чёрного хода, – сказала она. – На Мойке. Дверь без таблички, с жёлтым звонком. Не опаздывайте. Я не люблю.

– Я не опоздаю.

– Хорошо. – Она сняла с гвоздя плащ. – Мне ещё надо к Вите. До свидания, Ольга Марковна. Выздоравливайте.

– Непременно, – сказала та.

Дверь закрылась. На лестнице затихли шаги, лёгкие, быстрые, уходящие вниз через две ступеньки. Ольга Марковна дослушала их до конца, потом повернулась, и лицо у неё было такое, будто она только что выиграла партию, а теперь мысленно разбирает ходы.

– Умная девочка, – сказала она. – Колючая. Обожаю. Идите, мойте руки, у меня щи.

Квартира Ольги Марковны занимала три комнаты в конце коридора, и каждая из них была музыкальным инструментом. В первой стоял рояль, старый, чёрный, с поднятой крышкой, и на пюпитре лежали ноты, прижатые чьими-то очками. Во второй, служившей и спальней и кабинетом, на стене висели восемь скрипок, одна над другой, как портреты предков, а на столе, у окна, лежал в открытом футляре альт: старый, тёмно-красный, с потёртым верхом, с треснувшей лаком по левому краю декой, на которой кто-то нарисовал карандашом маленькую смешную рожицу. Третья комната, кухня, оказалась самой тёплой и самой неухоженной: на плите бурлила кастрюля, на подоконнике рядами стояли банки с вареньем, а на круглом столе, под клеёнкой в цветочек, расположились две тарелки, две ложки и половина чёрного хлеба.

– Садитесь, – сказала Ольга Марковна. – Ешьте. Потом поговорим.

Щи оказались густые, кислые, с капустой и грибами, и Варвара, до сих пор не замечавшая голода, съела целую тарелку и попросила вторую. Ольга Марковна сидела напротив, пила чай из алюминиевой кружки, молчала и смотрела. Взгляд у неё был тот самый, что в училище: внимательный, сухой, без малейшей жалости, и от него, как и тридцать лет назад, хотелось выпрямиться.

– Ты врала у двери, – сказала она наконец.

– Я...

– Не оправдывайся. Я слышала. Ты стояла за её спиной, и на «лучше» у тебя поехала нота. Ты никогда не умела врать. Ты умеешь слушать, как врут другие. Это разное.

– Откуда вы знали про ногу?

– Мне Николай Андреевич позвонил, – сказала Ольга Марковна. – В понедельник. Из Тарусы. Спросил, правда ли, что ты едешь ко мне, и у меня болит нога. Я сказала: болит. Он сказал: хорошо. И повесил трубку.

Варвара опустила ложку.

– Он вам звонил?

– Не волнуйся. Он ничего не заподозрил. Он человек, который не заподозрит, пока не придётся. Просто хотел убедиться, что мне ничего не нужно. Спросил, нужны ли лекарства. Я сказала: пришли варенье. – Она глотнула из кружки. – Хороший человек. Молчаливый. Ты с ним правильно.

– Я с ним неправильно, – сказала Варвара. – Я ему соврала.

– Конечно.

– Вы так спокойно...

– Потому что ты должна была соврать. – Ольга Марковна поставила кружку. – Послушай. Мне семьдесят четыре года. Я шестьдесят лет слушаю людей, и знаю одно: в таких делах первым узнаёт тот, кто решает. Остальные потом. Если ты скажешь ему сейчас, он начнёт тревожиться за тебя, а ты за него. Ты не будешь слышать собственных нот. Тебе надо один раз сыграть так, чтобы ничьё мнение не стояло между тобой и грифом.

– А потом?

– Потом скажешь. – Она усмехнулась. – Или не скажешь. Тоже вариант.

– Вы это серьёзно?

– Нет. Но звучит красиво.

Варвара засмеялась. Смех вышел слабый, с хрипотцой, и тут же она, к собственному удивлению, почувствовала, как у неё защипало в глазах. Ольга Марковна смотрела на неё, не двигаясь, с папиросой между пальцами, и в светлых выцветших глазах стояло то, чего Варвара никогда там не видела: тихая, суховатая, почти бесслёзная нежность.

– Глинка со мной двадцать лет знаком, – сказала она. – В две тысячи пятом я привела к нему на конкурс мальчика, который не выиграл. Он тогда сказал: «Ольга Марковна, мальчик талантлив, но он слушает себя». Я ответила: «А кто у тебя слушает остальных?» Он обиделся на три недели. – Она помолчала. – В январе я позвонила ему и сказала: у тебя в июне освобождается первый альт. Ему сто раз говорили, что Лёва Ротенберг уходит. Он не верил. Лёва сорок один год за пультом, у него рука дрожит, он держится только потому, что боится, что без пульта умрёт. Я сказала: найди ему замену, пока он сам не нашёл. Он спросил кого. Я сказала: Миронову.

– Вы сказали Глинке про меня.

– В декабре. Ещё до Валдая. Потом позвонил Резников, и они подтвердили. Мальчик у меня слушал твой Ларго по записи. Сказал: «Это то самое». Я не знаю, что «то самое», но я им поверила.

– Вы всё это время...

– Что?

– Знали, что я приеду.

– Знала, что ты в конце концов поймёшь. – Ольга Марковна загасила папиросу. – Это называется «педагогика». Ты думаешь, я просто так тебе звонила? В сентябре, когда заболела? Я лежала с температурой тридцать девять и кричала Лидии Павловне, этой секретарше: «Позвоните Мироновой!» Она не поняла. Я сказала: «Она слышит больше, чем говорит. Пусть

слушает». – Голос её дрогнул, едва заметно. – Я не знала, чем это кончится. Лидочка потом мне писала. Из Калуги. Короткое письмо, три строчки. Попросила передать тебе, что ты держала пять тактов.

– Она вам писала?

– Она была хорошей секретаршей. – Ольга Марковна потёрла переносицу. – Я не знала, что она Рогова. Я знала Павла Сергеевича. Лет тридцать назад мы играли на одном фестивале. Он дирижировал, я сидела во втором ряду. Хороший человек. Тихий. – Она замолчала. – Ладно. Хватит про старое. Вымой посуду и играй.

– Что?

– Хиндемита. Ты привезла.

– Откуда вы...

– Потому что ты его не тронула три месяца. – Она встала, подошла к плите. – Глинка сказал мне: «Ольга Марковна, я ей предложил Хиндемита, она ответила, что не знает, откуда я про него». Это значит, что ты боишься. А тот, кто боится Хиндемита, боится самого себя.

Варвара мыла посуду медленно, тщательно, глядя на струю воды. Руки у неё дрожали, и тарелки звякали друг о друга. За спиной Ольга Марковна гремела чайником, и в этом бытовом, домашнем шуме было что-то успокаивающее, как в трубке на башне, где сквозь шипение пробивалось мурлыканье кота. Она вытерла руки, достала из футляра альт, потёртую папку, и села на стул посреди комнаты, где стоял рояль.

Ноты лежали на пюпитре. Первая страница, пожелтевшая, с карандашными пометками, сделанными её собственной рукой тридцать лет назад: «Не торопиться». «Дышать». «Здесь она слушает». Она настроилась. Смычок лёг на струны, и в наступившей тишине она услышала собственное дыхание, и потом, в какой-то глубине, шестнадцатилетнюю Варю Миронову, которая играла безупречно и с такой неохотой, будто возвращала долг.

Она сыграла первую страницу. Сыграла чисто, без ошибок, точно, ровно, и, закончив, опустила смычок.

Ольга Марковна сидела у стены, на табурете, с новой папиросой, незажжённой. Лицо у неё не изменилось.

– Всё верно, – сказала она.

– Вы довольны?

– Нет. – Она помолчала. – Это всё верно, как на экзамене. Ты играешь так, как будто тебя могут поймать. Хиндемит писал не для экзаменаторов. Он писал для человека, который идёт один по лесу в сумерках и слышит всё. Каждую ветку. Играй так, как будто это твои ноты.

– Они не мои. Их написал Хиндемит.

– Нет, – сказала Ольга Марковна. – Они твои. Он их написал, а ты их несёшь. Это разные вещи. Нести, значит владеть. Ты тридцать лет несёшь чужие ноты и не знаешь, что они в твоих руках. – Она встала, подошла, положила сухую ладонь Варваре на запястье. – Ещё раз. Сначала.

Она сыграла ещё раз. И ещё. Ольга Марковна ходила по комнате, останавливалась у окна, снова ходила, и один раз, на середине второй страницы, не выдержав, вскрикнула: «Стоп!» – и Варвара, вздрогнув, остановилась на ноте. «Ты слышишь эту ноту?» – «Слышу». – «Она не твоя. Ты её отпустила раньше, чем она кончилась. Держи». Она держала. Нота тянулась, густая, хрипловатая, не гасла, и вдруг, на каком-то незаметном переходе, перестала быть просто звуком, стала чем-то вроде собственной кожи. Варвара не заметила, как закрыла глаза.

Когда она открыла их, за окном было совсем темно, и в стекле отражалась лампа, и Ольга Марковна сидела на табурете с мокрым лицом.

– Вот, – сказала она тихо. – Теперь ты это сыграла.

Ночью она не спала. Её уложили на диван в комнате с восемью скрипками, под лоскутное одеяло, пахнущее нафталином, и она лежала на спине, слушая, как за окном, на Малой Невке, идёт лёд. Тихо, мерно, со скрежетом, как будто кто-то очень большой и очень терпеливый двигает мебель на другом этаже. Под потолком на гвозде висела скрипка с надписью на деке «Ленинград, 1953», и в свете уличного фонаря она казалась живой. «Завтра, – подумала Варвара. – Завтра Даша». И, засыпая, не решила, чего боится больше: прослушивания или завтрашнего утра.

Мойка в десять утра была серебристо-серой, мокрой, пахнущей оттепелью. Дождя не было, но с карнизов, с балконов, с чугунных решёток падали тяжёлые капли, и вся набережная звенела на разные голоса: капли по железу, капли по асфальту, капли по воде, в которой плыли редкие льдинки. Над каналом висело низкое небо без единого просвета. Чайки сидели на парапете цепочкой и смотрели на прохожих с выражением людей, которых забыли предупредить об оттепели.

Дом Ратневых стоял на изгибе набережной, между двумя мостами, и Варвара узнала его сразу, как узнают лицо, которое долго представляли. Двухэтажный, широкий, жёлтый, с белыми колоннами по фасаду и треугольным фронтоном, на котором выступала лепная эмблема: лира, обвитая лентой. Окна высокие, с белыми наличниками, в нижнем этаже забранные коваными решётками. На углу висела табличка: «Музей музыкальных инструментов». Парадный подъезд был закрыт тяжёлой дубовой дверью с бронзовой ручкой, а в проулке, сбоку, где от стены к стене тянулась бельевая верёвка с прищепками, пряталась ещё одна, маленькая, железная, выкрашенная в серый, и над ней виднелся жёлтый звонок размером с пуговицу.

Даша ждала, прислонившись к стене. На ней был тот же жёлтый плащ, в одной руке стальной термос, в другой два белых лабораторных халата, сложенных вчетверо. Увидев Варвару, она оторвалась от стены и посмотрела на часы.

– Девять пятьдесят восемь, – сказала она. – Хорошо.

– Я старалась.

– Вижу.

Она нажала на звонок, один раз, коротко, и в глубине дома тихо щёлкнуло. Дверь открыла старуха в синем вязаном платке, вахтёрша, невысокая, мягкая, с лицом, на котором застыло выражение вечного вежливого удивления, и с огромным серым котом на руках, свисавшим, как мешок муки. Кот был чёрный на спине и белый на брюхе, с огромными жёлтыми глазами и усами, торчавшими в разные стороны.

– Дашенька, – сказала вахтёрша. – А это кто?

– Это гость, Анна Викторовна. Музыкант. Я её проведу.

– Нужно записать.

– Я запишу.

– А кот у меня сегодня капризный, – сообщила вахтёрша. – Не стал есть. Думает, что пост.

– Фагот всегда думает, что пост, – сказала Даша. Она протянула руку, и кот, не меняя выражения морды, с достоинством перекочевал к ней на плечо. – Идёмте.

Они вошли. Узкий, тёмный коридор, пахнущий сыростью, лаком и старыми книгами, вёл к лестнице, и на повороте, у столика, на котором лежала толстая тетрадь в коленкоровом переплёте с надписью «Журнал посещений», Даша остановилась. Взяла карандаш на верёвочке, быстро и чётко вписала: «15.04.2025. 10.03. Гость: Миронова В. С. Сопровождающий: Рябинина Д. Н. Цель: ознакомление с мастерской». Подовинула тетрадь. Варвара расписалась ниже. В нескольких строчках выше стояли другие записи, размашистые, торопливые: «Белов А. И. 8.40», «Куприянова Н. З. 8.55», «Ланской К. А. 9.10».

– Все приходят до десяти, – сказала Даша. – Ланской раньше всех. Он живёт рядом, на Конюшенной.

– А вы?

– Я с девяти. Но по средам Марина разрешает прийти позже. – Она выпрямилась, и по лицу её прошла тень, будто ей самой было неприятно говорить о себе. – Пойдёмте, пока Анна Викторовна не начала рассказывать про свою племянницу. Она у неё, оказывается, играет на балалайке.

Мастерская занимала бывшую столовую на первом этаже, длинную, светлую комнату с тремя высокими окнами на Мойку и потолком, под которым висела лепная гирлянда из лавровых листьев. Сквозь стёкла лился бледный рассеянный свет, и в нём, как в аквариуме, плавала пыль. Вдоль стен стояли рабочие столы, массивные, из потемневшего дуба, застеленные белой бумагой, и на каждом лежало что-то, закрытое тканью: лютня с отломанным грифом, гитара без струн, виолончельная дека, расколотая пополам, как арбуз. Пахло так, как Варвара не нюхала никогда, и запах этот сразу, с порога, ударил в голову: густая смесь лака, спирта, кроличьего клея, канифоли и свежей стружки, перебитая чем-то горьковатым, смолистым, тёплым, как запах церковных свечей.

У окна, спиной к ним, стояла женщина в тёмно-зелёном рабочем халате и склонялась над столом, на котором лежал маленький деревянный предмет, похожий на скрипичную подставку. Волосы у неё были собраны в тугой тёмный узел, из которого выбивались седые пряди, плечи сутулые, и руки, державшие длинную кисточку и стеклянную палочку, двигались медленно, осторожно, с той особой точностью, какая бывает только у людей, привыкших не дышать над хрупким. Услышав шаги, она не обернулась.

– Марина, – сказала Даша. – Это Варвара Сергеевна.

– Здравствуйте, – сказала женщина, не поднимая головы. – Ничего не трогайте и не дышите на лак.

– Я не дышу.

– Тогда проходите.

Она подняла голову. Лицо у неё оказалось неожиданно молодое, сорока одного года, узкое, смуглое, с тёмными усталыми глазами и глубокой складкой между бровей, и на нём застыло такое выражение, какое бывает у людей, много лет смотрящих в одну точку и привыкших, что их не замечают. Руки в тонких нитриловых перчатках были обожжены у запястий: красные, местами шелушащиеся пятна, оставленные, видимо, кислотами и растворителями. Она улыбнулась. Не губами, а глазами, чуть-чуть, как улыбаются на похоронах знакомым.

– Одинцова, – сказала она. – Реставратор. Дашенька вам расскажет, что у нас тут как. Если что, у меня термос. С чаем. Без лимона.

– Спасибо.

– Витя! – крикнула Марина в сторону дальнего стола. – Витя, ты куда пропал?

Из-за стеллажа, заставленного банками, показалась вихрастая голова. Парень лет двадцати восьми, высокий, тощий, с тонкой шеей, торчащей из воротника синей рабочей куртки, в круглых очках с толстыми стёклами и с пробиркой в руке, быстро-быстро заморгал. Лицо у него стало красным, как редиска.

– Я... я здесь, Мари... Марина Сергеевна, – сказал он. – Я р-растворитель... смотрел.

– Это Витя, – сказала Даша. – Виктор Гущин. Аспирант, ведёт нашу систему. Лучший хомик в музее. Заикается только при Марине.

– Д-даша!

– Я шучу, Витя. Это Варвара Сергеевна. Она музыкант.

– П-приятно, – сказал Виктор, и пробирка в его руке чуть звякнула о палец. – Я ч-чай... если хотите...

Марина вернулась к своей работе, не поднимая глаз, и Варвара заметила, как у парня, провожавшего её взглядом, вытянулось лицо, а в блеске стёкол мелькнуло что-то такое тоскливое и безнадёжное, что она отвела глаза.

– Хранилище, – коротко сказала Даша. – Пойдёмте.

Они спустились по узкой каменной лестнице, которая начиналась за дверью в конце мастерской. Лестница была крутая, винтовая, из серого известняка, и каждая ступень, истёртая посередине до блеска, отзывалась под ногой гулким звуком. Чугунные перила, холодные, мокрые от сырости, шли вдоль стены, и на повороте, в нише, горела тусклая лампочка в проволочном колпаке. Варвара считала, как всегда. Двадцать две ступени. На седьмой, чуть ниже поворота, камень немного шатался, и Даша, не оборачиваясь, сказала: «Осторожно, седьмая. Ланской её уже год собирается закрепить».

Внизу была дверь. Серая, стальная, тяжёлая, с прорезью для карточки и крохотным зелёным индикатором. Даша достала из кармана пластиковый прямоугольник на шнурке, поднесла к панели, и индикатор мигнул красным.

– У меня гостевая, – сказала она. – Вход только с Мариной. Марина!

Марина, спускавшаяся следом, достала из кармана халата вторую карточку и приложила к панели. Замок щёлкнул, красный огонёк сменился зелёным, и дверь медленно, тяжело, с мягким сипением, отъехала в сторону. Изнутри пахнуло холодом. Не уличным, а ровным, сухим, чистым, как в больнице, и сразу следом тихо, непрерывно, на одной ноте, загудела система климат-контроля: густой, низкий, почти басовый звук, похожий на гул далёкого самолёта. Над дверью, на экране, горели цифры: «+18°. 50 %».

– Сюда, – сказала Даша. – Малое хранилище номер два. Это его место.

Помещение оказалось длинным, с низким сводчатым потолком, и вдоль стен, на металлических стеллажах, стояли футляры, ящики, коробки, ряды замотанных в плёнку инструментов, и над каждым висела бирка с номером. Свет шёл ровный, холодный, от длинных ламп под потолком, и в нём всё казалось вырезанным из белой бумаги. Пол был устлан серым линолеумом, на котором не оставалось ни пылинки. В самой глубине, в дальнем конце, на низкой подставке с колёсиками, под белой простынёй стояло что-то длинное и узкое, и от него исходило ощущение присутствия, как от спящего человека.

Даша остановилась, не доходя трёх шагов.

– Подождите, – сказала она. – Я сниму.

Она подошла, взяла простыню за уголки двумя пальцами и очень медленно, как снимают повязку с раны, стянула. Ткань упала на пол мягкой волной.

Клавесин был не похож ни на что.Варвара ожидала нарядной, позолоченной, музейной вещи, вроде тех, что выставляют в витринах дворцов, а перед ней стоял инструмент строгий и тихий, как старая монахиня. Корпус длинный, суженный к хвосту, тёмный, цвета старого кипариса, с тонкими золотыми линиями вдоль края, и на боках, едва различимые под слоем потемневшего лака, угадывались расписные медальоны: пастухи, овцы, развалины. Ножки тон-

кие, резные, лёгкие, как у лани. Крышка была закрыта. На ней, поверх коричневого лака, шли длинные, густые трещины, как на старой иконе, образуя узор из неправильных многоугольников, и в этой паутине, в тусклом свете ламп, мерцало что-то золотое, едва видное, как вода на дне колодца.

– Алессандро Бенедетти, – сказала Даша. Голос её вдруг изменился. Сухая, резкая интонация ушла, и на её место пришла другая, тихая, быстрая, почти шёпот. – Венеция, тысяча семьсот сорок шестой. Один мануал, два регистра по восемь футов, кипарис, дека из ели. В семьдесят первом его купил для домашнего театра князь Ратнев. Вот этот самый дом. Он тогда стоял у них в зале с зеркалами. Потом революция, потом музей. Мы его вернули на место сорок лет назад, и теперь он стоит в доме, где жил. Родился он в Венеции, но душа, – она запнулась, смутилась и поправилась, – ну, то есть жизнь.

– Душа?

– Я так не говорю обычно. – Она покраснела. – Просто когда на него смотришь, перестаёшь быть сухой.

Варвара подошла ближе. На сантиметр, потом на два. Деревянный корпус, при дневном свете, наверное, казавшийся серым, под люминесцентными лампами светился тёмным медовым теплом, и в трещинах лака, если присмотреться, проступали тончайшие, как волос, золотые прожилки. Она не решалась дотронуться.

– Можно, – сказала Даша. – Только в перчатках. Вон там, в коробке.

Она надела тонкие нитриловые перчатки, которые Даша достала из жестяной банки, и осторожно, подушечками двух пальцев, коснулась борта. Дерево было тёплое. Это удивило её больше всего: тёплое, как кожа, хотя в хранилище стояло восемнадцать градусов.

– Это лак, – сказала Даша. – Он живёт. Он стареет, темнеет, трескается, но не умирает. Когда я чищу, я чувствую, как он дышит. Вот, смотрите.

Она взяла со стола маленький стеклянный флакон, ватную палочку на тонкой деревянной ножке, окунула её в бесцветную жидкость, и, придвинувшись к боку клавесина, у самого нижнего края, где коричневый лак переходил в золотую линию, осторожно, медленно, едва прикасаясь, провела палочкой по поверхности. Раз. Два. Три. Круговыми движениями, на участке не больше монеты. Серая плёнка грязи сошла, и из-под неё, как из-под воды, проступил цвет.

Варвара ахнула. Она не хотела, звук вырвался сам.

Это был синий. Не тёмно-коричневый, как весь корпус, а чистый, глубокий, ясный синий цвет вечернего неба, цвет, который пишут в итальянских фресках, и на нём, мелкими золотыми мазками, как нарисованные ребёнком, сидели три крошечные птицы. Птички с красными клювиками, тонкие, живые, словно только что порхнули на ветку. Круглое окошко размером в два сантиметра, прорезанное в толще лака, сияло, как драгоценность в тёмной шкатулке.

– Это было под ним, – сказала Даша. – Триста лет под слоем коричневой грязи. Потом, в девятнадцатом веке, кто-то покрыл всё тёмным лаком, чтобы «приличнее». Мы убираем.

Медленно. Одно окошко в день, больше нельзя, а то растворитель повредит дерево. Я уже вычистила семь. Это восьмое.

– Господи, – сказала Варвара.

– Да?

– Красиво.

– Нет, – сказала Даша. – Красиво это когда нарисовано. А это... – Она остановилась, подбирая слово. – Это правда. Знаете, что самое трудное в реставрации? Не убрать грязь. Это умеет любой. Самое трудное, не добавить. Когда убираешь лак, перед тобой появляется то, что было. А потом тебе хочется подправить, чтобы стало красивее. Подрисовать птичку, подкрасить синий. И нельзя. Потому что тогда ты перестаёшь реставрировать и начинаешь врать. Нужно убрать лишнее и оставить то, что есть, даже если оно не очень красиво.

Она говорила быстро, горячо, с блестящими глазами, и в голосе не осталось ничего колючего. Она стояла, прижимая к груди ватную палочку, и вокруг неё, в ровном холодном свете хранилища, пахло спиртом и старым деревом. Варвара смотрела на неё и вдруг ясно поняла, чего ей не хватало все эти дни. Не поддержки, не совета, не слов. Ей не хватало вот такого: чужой страсти, горящей так ярко, что от неё становилось тепло. Она не заметила, когда улыбнулась.

– Вы счастливая, – сказала она.

– Что?

– Вы любите то, что делаете.

– Это не счастье, – сказала Даша. – Это зависимость.

– Одно и то же.

– Нет. – Она повернулась к клавесину. – Но близко.

Они стояли рядом, молча, и клавесин перед ними дремал в своём ровном холодном свете. Гудела система климат-контроля. Где-то в потолке, глубоко в трубах, тихо, мерно, как метроном, стучала капля. Даша положила палочку на стол, сняла перчатки, и руки у неё, как заметила Варвара, были такие же, как у отца: широкие, красные, с белыми шрамами на пальцах, и с той особой спокойной силой, которая бывает только у людей, привыкших делать трудное.

– Хотите услышать? – спросила она.

– Что?

– Его. Одну ноту. Мне разрешают раз в неделю, чтобы слышать, как стареет дерево. Только тихо. И никому не говорите.

Она подошла к инструменту, откинула лёгкую войлочную полосу, закрывавшую клавиши, и подняла крышку. Клавиши оказались не белыми и чёрными, а наоборот: чёрными из эбенового дерева и белыми с жёлтой костяной полоской. Варвара наклонилась. Под самой крышкой, с внутренней стороны, шла надпись, вырезанная тонкой золотой линией, потемневшей от времени. Латинские буквы, мелкие, плавные, на ленте, обвитой вокруг веточки лавра.

– «Tacendo loquor», – прочла она вслух.

– Это девиз, – сказала Даша. – «Молча говорю». Мы не знаем, чей. Бенедетти или Ратнева. Мне кажется, Бенедетти. Он делал так: молчание, которое звучит.

– «Молча говорю».

– Красиво?

– Страшно, – сказала Варвара. – Это про меня.

Даша не ответила. Она положила палец на одну из клавиш, левее середины, нажала медленно, почти не касаясь, так, как нажимают на что-то хрупкое, и внутри инструмента, где-то глубоко под декой, тихо, тонко, сухо вздрогнула струна. Звук был маленький и прозрачный, как капля, упавшая на стеклянное блюдце. Он повис в холодном воздухе хранилища, дрожал, затухая, и в его тающем серебряном хвосте, в самых верхних обертонах, звенело что-то, чего Варвара никогда не слышала ни от рояля, ни от клавесинов в оркестровой яме: старость. Старость, которая не умерла, а просто сменила тембр.

– Ре, – сказала она тихо. – Нет. Ре-бемоль. Чуть ниже.

– Это ре-бемоль, – сказала Даша медленно. – Вы правы. В сорок шестом они строили на четыреста пятнадцать, а не на четыреста сорок. То есть ля у них была ниже. Поэтому и ре-бемоль звучит ниже. Откуда вы знаете?

– Не знаю. Слышу.

– Папа говорил, что вы слышите. Я думала, он преувеличивает.

– Он преувеличивает во всём, – сказала Варвара. – Кроме носков.

Даша вдруг тихо, коротко засмеялась. Это был первый её настоящий смех за всё время, ломкий, чуть хриплый, вырвавшийся сам, и от него лицо, до сих пор напряжённое и острое, смягчилось, стало молодым, чуть растерянным, чуть детским. Она закрыла клавиатуру, опустила крышку и накрыла клавесин простынёй, бережно, как укрывают спящего.

– Есть ещё одна вещь, – сказала она. – Про которую я не должна говорить.

– Тогда не говорите.

– Нет. Я хочу. Вы слышите, значит, поймёте. – Она наклонилась, провела рукой по крышке. – Видите, вот здесь? Внутренняя сторона. Я измеряла. Она короче внешней на три сантиметра. Ланской говорит, что это усадка. Дерево сохнет. Но я смотрела чертежи, и в Вене-

ции в сорок шестом так не делали. Крышки делали ровно. Усадка так не бывает. У дерева сохнет вдоль волокон, а не поперёк.

– Что это значит?

– Не знаю. – Она выпрямилась. – Может быть, ничего. Может, мастер ошибся. Но я думаю, что там что-то есть. Внутри. Только Ланской меня не слушает. Говорит: «Дарья, вы на практике, а не в Лувре». – Она сжала губы. – Если бы я хоть раз осталась с ним одна ночью, с лупой и тонким щупом...

– Даша.

– Я знаю. Нельзя. – Она вздохнула. – Идёмте.

Они поднялись по двадцати двум ступеням. На седьмой Даша ещё раз сказала: «Осторожно». В мастерской Марина по-прежнему склонялась над маленькой подставкой, а Виктор Гущин, красный, с пробиркой, делал вид, что смотрит на реактивы. Кот Фагот, взобравшись на стол, сидел на подоконнике и, не мигая, наблюдал за чайками. За окном моросило. Тихо, ровно, мелко, как будто на стекло сыпали сахарную пудру.

На крыльце, на выходе, под козырьком чёрного хода, они остановились. Даша достала термос, налила в крышку чаю, протянула. Чай был крепкий, с мятой и липой, и у Варвары на секунду перехватило горло: так пахло в рубке «Герды». Она отпила и вернула.

– Это папин, – сказала Даша. – Я у него взяла. Он всем наливает такой.

– Я знаю.

– Знаю, что знаете. – Она отвернулась к воде. – Варвара Сергеевна.

– Да.

– Вы не к Ольге Марковне приехали.

Слова были сказаны ровно, без нажима, глядя на канал, по которому плыла одинокая льдинка. Варвара почувствовала, как внутри что-то быстро, холодно сжалось.

– К ней, – сказала она.

– Тоже. Но не только.

Она не ответила. Даша не стала настаивать. Повернулась, посмотрела на неё внимательно, пристально, как смотрят на лак перед тем, как решить, снимать ли слой, и сказала:

– Мне всё равно, зачем вы приехали. Это ваше дело. Мне важно одно.

– Что?

– Чтобы вы его не обидели.

– Я не собираюсь.

– Вы уже собираетесь. – Голос у неё вдруг стал тихий, чуть сиплый. – Не потому, что хотите. Просто вы приехали, и вам страшно, и вы не говорите ему. А он молчит. Знаете, сколько он молчал после мамы? Три года. Три года я его не слышала. Только «да» и «нет». А с этой зимы он стал разговаривать. Не со мной. С вами. Я слышу в телефоне. Он говорит, а потом смеётся. Тихо, как будто сам удивляется. – Она сглотнула. – Я вас, если честно, сначала ненавидела. Вы приехали на Новый год, сели за наш стол, и папа сделал вам стол. Мне он за двадцать лет сделал одну табуретку.

– Даша...

– Дайте договорить. – Она подняла руку. – Я не про табуретку. Я про то, что он живой. И я знаю, что это вы. Поэтому я не скажу ему, что вы мне соврали. Если соврали. Но если вы его обидите, я вам руки оторву. Нитриловые перчатки не помогут.

Она произнесла это так серьёзно и так по-детски, что Варвара не выдержала и рассмеялась. Тихо, мягко, без насмешки, и Даша, глядя на неё, сначала нахмурилась, потом скривила губы, потом, не выдержав, засмеялась тоже.

– Договорились, – сказала Варвара. – Не обижу.

– Хорошо.

– А ты мне скажешь, если...

– Если что?

– Если я начну.

Даша посмотрела на неё и, помедлив, кивнула. Один раз. Серьёзно, как кивает отец.

– Скажу, – сказала она. – Только не обещайте, что послушаетесь.

– Не обещаю.

– Тогда ладно.

Они стояли на ступенях чёрного хода под козырьком, и с карниза над ними, мерно, торопливо, падали тяжёлые капли. Мойка внизу шла серой водой, и по ней, медленно, как идут уставшие люди, плыли льдинки. Вдалеке, на мосту, играл уличный скрипач, что-то быстрое, танцевальное, и ветер приносил обрывки мелодии.

– Ладно, – сказала Даша. – Мне пора. Вам завтра играть?

– Откуда ты...

– Вы же сказали «к Ольге Марковне на пару дней», а у вас на футляре бирка от Московской консерватории с приклеенным списком: «Уолтон, Бах, Берлиоз». Список для прослушивания. Я реставратор. Я читаю бирки. – Она повернулась уходить, но у двери остановилась. – Сыграйте хорошо.

– Постараюсь.

– Не старайтесь. – Она улыбнулась уголком рта, и в этой улыбке Варвара вдруг явственно увидела отца: ту же тень, скрытую глубоко, что-то вроде подарка, который не вручают, а подкладывают. – Играйте так, как будто вам разрешено.

Дверь закрылась.

Она осталась на крыльце одна. С набережной, с мокрого асфальта, тянуло холодом, и чайки на парапете, дождавшись, пока она отойдёт, снова расселись цепочкой. Она сунула руки в карманы куртки. В правом лежала мятная конфета, которую Даша сунула ей на прощание, незаметно, как суют леденец ребёнку. В левом сложенный вчетверо листок: «Ящики не заедают. Проверял».

Она пошла по набережной, мимо мостов, мимо льдин, мимо жёлтых домов, и вдруг поймала себя на том, что смеётся. Тихо, сама с собой, не стыдясь прохожих. Она не помнила, когда последний раз так смеялась на улице. Просто шла и смеялась, а в голове, как тихая, ясная, прозрачная нота, на ре-бемоль, чуть ниже, чем нужно, звенело одно: «Tacendo loquor». Молча говорю. И в этом, как оказалось, не было ничего страшного.

Глава 3

Остаток среды Варвара провела в той особенной ясности, какая бывает у людей накануне экзамена, когда страх уже прошёл, а до экзамена ещё далеко. Она вернулась к Ольге Марковне, поела щей, позанималась два часа, играла Баха, то место из сарабанды, где мелодия опускается вниз, как человек по длинной лестнице, и в третий раз ей показалось, что это не ноты, а слова, которые она давно хотела сказать. Ольга Марковна ходила по квартире, гремела посудой, останавливалась в дверях, слушала, молча уходила, и в этом молчании, как ни странно, чувствовалась опора. В три часа она сказала: «Тебе звонили». – «Кто?» – «Не знаю. Телефон лежал в прихожей. Три раза. Не взяла, чужое».

Звонила Даша. Сообщение пришло коротко, без смайлов: «Белов устраивает чай в четыре. Со Скопиным. Ланской будет показывать клавесин. Приходите. Вам полезно. Д.»

«Полезно» стояло так, как стоит пометка на полях партитуры, и Варвара, прочитав, поняла, что это не приглашение, а диагноз. Даша приказывала ей познакомиться с людьми, с которыми, возможно, ей предстоит иметь дело. Или просто не хотела, чтобы она в день перед прослушиванием осталась наедине со своими нервами. Она посмотрела на Ольгу Марковну.

– Иди, – сказала та, не оборачиваясь. – В четыре. У тебя свободное время.

– А прослушивание...

– Завтра в одиннадцать. Сегодня ты уже готова. Больше играть вредно. Пальцы устанут. Иди послушай чужую музыку.

– Там нет музыки. Там клавесин, которого не трогают.

– Тем лучше, – сказала Ольга Марковна. – Это самая чистая музыка. Её никто не играет.

Дом Ратневых днём, при открытой парадной двери, выглядел совсем иначе. Тяжёлая дубовая створка, закрытая утром, теперь была распахнута на ширину ладони, и сквозь щель в сырую прохладу набережной вытекал запах: тёплый, пряный, густой, как будто кто-то на втором этаже варил кофе с корицей. Над крыльцом на длинном шесте висел выцветший флаг музея с изображением лиры, мокрый и тяжёлый, и вода с него падала на ступени крупными частыми каплями. На ступенях, у перил, сидела на корточках вахтёрша Анна Викторовна в синем платке, с блюдцем молока, и перед ней, поджав лапы, на мокром камне сидел кот Фагот и с огромным достоинством изучал молоко.

– Проходите, – сказала она, не поднимая головы. – Они в зале. Дашенька вам место оставила.

Парадная лестница, широкая, пологая, с чугунными перилами, на которых вилась ржавая лоза, поднималась на второй этаж двумя маршами, и на площадке, между ними, в нише, стоял в стеклянном ящике старинный ящик с волынками. Стены, оклеенные бледно-зелёными шёлковыми обоями, потемнели от времени и в нескольких местах расслоились, как слоёный пирог. На потолке, над лестницей, рука неизвестного мастера давным-давно нарисовала небо с облаками, из которых выглядывали пухлые розовые амуры с лирами, и один, самый маленький,

потерял лиру и держал в руках что-то вроде рогатки. Варвара поднималась медленно, разглядывая. На втором этаже, у входа в анфиладу, висел на стене большой бронзовый колокольчик с надписью «Ратневъ 1789», и когда она проходила, воздух от её шагов качнул его, и он тихо, едва слышно, коротко, на одной ноте отозвался.

Анфилада тянулась вдоль всего фасада. Пять залов, один за другим, с высокими окнами на Мойку, с паркетом, который скрипел на разные голоса, и с витринами, расставленными вдоль стен, как в аптеке. В первом, голубом, под стёклами лежали гусли, звончатые, разных размеров, потемневшие, с пожелтевшими струнами, а над ними на стене, в раме, висела старинная гравюра: слепой гусляр в лаптях и мальчик-поводырь. Во втором зале стояли гитары. Десятки гитар, русских, семиструнных, с круглыми розетками и перламутровыми инкрустациями, и каждая подписана рукой на круглой бумажной бирке: «Крюков, Петербург, 1812». В третьем, длинном зале с лепным потолком, собрались духовые инструменты: трубы, валторны, фаготы, цинки, серпенты, похожие на змей, и странные, ни на что не похожие, вроде деревянной трубки с отверстиями, назначения которой Варвара не поняла.

В четвёртом зале стояли клавесины.

Их было шесть, и каждый накрыт белым чехлом, и в сероватом свете, сочившемся сквозь высокие окна, они напоминали спящих лошадей. Чехлы свисали до самого пола, образуя тяжёлые мягкие складки, а из-под них торчали тонкие резные ножки, одни золочёные, другие потемневшие. В воздухе стоял тот самый запах, который Варвара узнала с порога: лак, воск, канифоль, свежая стружка, и ещё что-то горьковато-тёплое, будто где-то неподалёку жгли сухие травы. Окно в дальнем конце зала было приоткрыто, и с карниза в ведро, поставленное на подоконник, мерно, неторопливо, капало. Размер был такой ровный и спокойный, что хотелось дышать в такт.

Пятый зал, самый большой, парадный, с огромным круглым столом посередине, был пуст и ярко освещён, и в нём, у камина, где потрескивали настоящие дрова, собрались люди.

– Вот, – сказала Даша, возникнув откуда-то сбоку. – Пришли. А я думала, не придёте.

Она была в чистом белом халате, с косой, заколотой на затылке, и выглядела совсем иначе, чем утром: собранной, чуть напряжённой, как перед выступлением. Взяла Варвару под локоть, быстро, коротко, и повела через зал.

– Слушайте. Сейчас вас представлю. Директор, Белов Аркадий Игоревич. Добрый, но боится всего на свете. Потеет. Не обращайте внимания. Ланской, Кирилл Андреевич. Заведующий реставрацией. Лучший реставратор клавишных в стране. Тщеславный. Но сердце у него есть. Куприянова, Нина Захаровна. Хранительница фонда. Молчит. Как скала. Скопин, Эдгар Мартынович. Коллекционер. Это самое неприятное. Вы с ним осторожнее. Он всё покупает. Даже то, что не продаётся.

– Даша.

– Что?

– Дыши.

Даша хмыкнула и замолчала.

У камина, на низкой кушетке, сидел, прижимая платок ко лбу, круглый, лысоватый, розовый человек в сером костюме с жилетом и в галстуке цвета жухлой травы. Он был невысок ростом, плотен, с мягкими руками, мягким лицом и мягкими седыми усами, торчащими, как щётка. Лет шестидесяти. Глаза маленькие, влажные, добродушные, и в них, при первом взгляде, читалась такая постоянная, глубокая, застарелая тревога, что на него сразу хотелось дать ему чаю. Увидев девушек, он вскочил, замахал платком, как флагом:

– Дашенька! Это ваша гостья? Прекрасно! Чудесно! Аркадий Игоревич Белов, директор. Простите, ради Бога, что мы так, по-домашнему. У нас сегодня небольшая... совещательная встреча. Попечительский совет. Вы, наверное, из консерватории?

– Из Тарусы, – сказала Варвара.

– Из Тарусы! – Он просиял. – Прекрасно. Я там бывал. В шестьдесят девятом, с родителями. Цветаева. Помните? Мы стояли у её дома.

– Я помню.

– Ах, какая память. Присаживайтесь. Сейчас будет чай. Ниночка!

«Ниночка», сидевшая в дальнем кресле, у самого окна, повернула голову. Это была маленькая, полная, тихая старушка лет шестидесяти восьми, в тёмно-синем вязаном кардигане с серебряной брошью в форме лиры и в тёплых тапочках, и вся она казалась такой уютной, мягкой, круглой, что хотелось поставить её на подоконник рядом с геранью. Белые, как лён, волосы собраны в пучок на затылке. Очки на цепочке. Лицо гладкое, спокойное, с глубокими складками вокруг рта, и в серых, чуть выцветших глазах стояло то выражение, которое Варвара видела у людей, давно привыкших молчать: не пустота, а плотно закрытая дверь, за которой живёт много всего. Руки у неё лежали на коленях, сложенные одна на другую, с набухшими венами, с длинными, тонкими, не по возрасту сильными пальцами. Она не встала. Слегка кивнула, и Варвара ответила тем же.

– Нина Захаровна Куприянова, – сказал Белов. – Наша хранительница. Сорок лет в фонде. Она знает про каждый предмет больше, чем он сам. Правда, Ниночка?

– Я знаю то, что написано в описи, – сказала Нина Захаровна тихим ровным голосом, чуть певучим, как у человека, привыкшего читать вслух. – И то, что не написано, но об этом лучше не говорить.

– Ниночка шутит!

– Нет, – сказала она. Не улыбнувшись.

В воздухе повисла секунда странной неловкости, которую Белов тут же заполнил громким смехом. Он потёр руки, оглянулся и начал суетливо, на ходу, объяснять Варваре, что у них сегодня радостный день: наконец-то выделили средства на выставку, юбилейную, «двести восемьдесят лет клавесина Бенедетти», в сентябре, торжественное открытие, на которое при-

едет министр, и поэтому на этой неделе приезжает «наш главный друг музея, Эдгар Мартынович, меценат».

– Не меценат, а консультант, – поправил мягкий голос.

Он стоял у окна, чуть в стороне, и Варвара заметила его только сейчас. Эдгар Мартынович Скопин. Высокий, тонкий, прямой, в идеально сидящем тёмно-сером костюме, с серебристыми, зачёсанными назад волосами и острым, красивым, тонким лицом. Шея повязана шёлковым шарфом цвета бордо, на мизинце левой руки мерцало кольцо с тёмным камнем. Лицо у него было из тех, на которые трудно смотреть долго: слишком правильное, слишком отполированное, как лицо античной статуи, и только глаза, светлые, ледяные, живые, выдавали человека, привыкшего получать то, что ему нужно. Он стоял, чуть склонив голову набок, и в руках держал, не отпивая, чашку из тонкого фарфора. Улыбка у него была вежливая, мягкая, с лёгкой полупрозрачной иронией.

– Консультант, – повторил он. – Я человек скромный. Я всего лишь люблю старые инструменты. И, как известно, платил за право ими любоваться. – Он слегка поклонился Варваре. – Эдгар Скопин. Очень рад.

– Миронова.

– Знаю. Дарья Николаевна мне о вас говорила. Альтистка. Редкий инструмент. Я бы сказал: самый человеческий.

– Это тоже говорят.

– Говорят многие. Понимают единицы. – Он слегка улыбнулся. – Может быть, вы дадите мне честь выслушать вас как-нибудь. Я собираю не только инструменты, но и музыкантов. У меня в загородном доме, в Комарово, стоит домашний оркестр. Не профессиональный, конечно. Четыре человека и рояль.

– Я не играю по заказу.

– Я не заказываю. Я приглашаю.

Он произнёс это так мягко, с такой почти нежной вежливостью, что отказаться казалось невежливым. Но в тоне было что-то ещё, неуловимое, как привкус металла в хорошем вине: уверенность человека, привыкшего, что приглашения не отклоняют. Варвара почувствовала, как у неё слегка напряглась спина. «Осторожнее, – сказала в голове Даша. – Он всё покупает».

– А вот и наш главный! – крикнул Белов, всплеснув руками.

В дверях показался Ланской.

Он вошёл неторопливо, чуть наклонив голову, потому что притолока была низкой, хотя ему, высокому, это и не требовалось. Лет пятидесяти девяти, прямой, сухой, как жердь, в длинном тёмно-коричневом рабочем фартуке из мягкой кожи, под которым виднелась белая рубашка с закатанными до локтя рукавами. Руки у него были длинные, узкие, с тонкими пальцами и тёмными пятнами лака на ногтях, и на каждой, как драгоценность, сидело по белой

хлопковой перчатке, надетой лишь наполовину, так что концы пальцев оставались свободными. Волосы серо-стальные, подстриженные коротким ёжиком, борода клином, аккуратная, ухоженная, с проседью. Лицо тонкое, породистое, с резкими складками от крыльев носа к уголкам губ и с глубоко посаженными карими глазами, в которых, при ярком свете, играли золотые точки. Он производил впечатление человека, который не просто знает себе цену, а давно подсчитал её до копейки и не собирается уступать.

– Господа, – сказал он негромко. – Прошу прощения за опоздание. Я заканчивал работу. Не люблю бросать на половине.

– Кирилл Андреевич! – Белов заулыбался. – Вы очень вовремя. Эдгар Мартынович мечтал увидеть наш хит. Мы с Дашенькой вас ждали.

– Дарья Николаевна здесь?

– Здесь, – сказала Даша.

– Тогда начнём. – Он повернулся, и взгляд его, скользнув по лицам, остановился на Варваре. Секунду, не больше. В карих глазах мелькнул быстрый, оценивающий интерес, который тут же погас. – Это та самая музыкантша?

– Да, Кирилл Андреевич. Варвара Сергеевна.

– Слух?

– Абсолютный.

– Прекрасно. – Он слегка наклонил голову. – Тогда вам будет интересно. Сейчас я покажу вам то, что стоит услышать.

Они прошли в четвёртый зал. Это произошло естественно, без команды: Ланской шёл первым, за ним, торопливо, придерживая очки, семенил Белов, потом Скопин, лёгкой плавной походкой, потом Нина Захаровна, медленно, опираясь на палку, и последними Варвара с Дашей. В анфиладе, под высокими окнами, капало: кап, кап, и в этом мерном звуке, в мокром сером свете, зал с шестью накрытыми белыми инструментами казался перенесённым откуда-то из другого времени.

Ланской остановился в центре. Вокруг него, как в храме вокруг алтаря, собрались остальные. Он снял с ближайшего клавесина чехол, медленно, не торопясь, свернул и положил на стул. Инструмент оказался небольшим, лёгким, расписанным нежными розами на светло-голубом фоне, и стоял он на таких тонких ножках, что казалось, вот-вот взлетит. Ланской поднял крышку. Провёл ладонью над клавишами, не касаясь, как проводят над огнём.

– Это не Бенедетти, – сказал он. – Это для сравнения. Ратневская копия, восемьдесят первого года. Русская работа, мастер Иван Козлов, крепостной. Звучит мягче. Слушайте.

Он сел. Руки лёгким движением легли на клавиши, и, не глядя в ноты, потому что их не было, он заиграл. Это была сонатина, короткая, быстрая, танцующая, и в тихом зале, под мерное капанье воды, клавесин запел. Голос у него оказался тонкий, прозрачный, чуть дребез-

жащий, как у очень старой женщины, помнящей все свои романсы. Ланской играл легко, свободно, чуть откинув голову, и пальцы его бегали по клавишам, как птицы по ветке, и в каждой ноте, в каждом ровном, чистом, точно выверенном звуке слышался человек, который любит то, что делает, и знает про это всё.

Варвара слушала, и по рукам у неё побежали мурашки. Она давно не слышала, чтобы играли так: не ради зрителей, а ради самого звука. Он закончил, убрал руки, и в зале на секунду стало очень тихо. Потом Белов восторженно зааплодировал, Скопин сдержанно кивнул, а Нина Захаровна закрыла глаза.

– Благодарю, – сказал Ланской. – Теперь главное.

Он встал, подошёл к стене, где в глубине зала, на отдельной низкой платформе, стоял седьмой клавесин, которого Варвара сначала не заметила. Его не накрывали чехлом. Он стоял в полной наготе, длинный, тёмный, суженный к хвосту, тот самый, что она видела утром в подвале, только теперь поднятый наверх, на тележке, в сопровождении двух рабочих, и от него исходило то же ощущение: тишина, присутствие, спящий человек.

– Бенедетти, – сказал Ланской тихо.

Никто не шелохнулся.

– Мы подняли его вчера, – продолжал он. – Специально для господина Скопина. Он давно просил увидеть его при дневном свете. Мне пришлось оформлять бумаги, согласовывать с директором. Это, как вы понимаете, не рядовой акт. Прошу не прикасаться. Я лично покажу всё, что нужно.

– Кирилл Андреевич, – сказал Скопин мягко. – Я очень вам благодарен.

– Не стоит.

Ланской подошёл к инструменту. Положил обе ладони на крышку, на секунду замер, как замирают перед молитвой, потом осторожно, не торопясь, поднял её. Внутри, на изнанке, под тонким слоем потемневшего лака проступила роспись: широкий пейзаж с рекой, холмами и далёкими башнями, написанный нежными голубыми и золотистыми красками. По краю крышки вилась золотая лента с латинской надписью, потемневшей, но ясной. Варвара узнала её: «Tacendo loquor».

– Девиз, – произнёс Ланской. – Мы не знаем, кто его выбрал. Ратнев, или сам Бенедетти. Мне кажется, мастер. Он любил тишину.

Он говорил негромко, чуть певуче, глядя на инструмент, а не на людей, и в голосе его, обычно сухом, ироничном, появилась неожиданная нежность. Он провёл пальцем над строкой, не касаясь, и добавил:

– Знаете, в чём моя работа? Люди думают, что я чиню старые инструменты. Это неправда. Я реставрирую тишину.

– Тишину? – переспросил Белов.

– Да. На каждом инструменте за триста лет нарастает всё, что не его: пыль, лаки, чужие руки, чужие мнения. Моя работа убрать. Не добавить, а убрать, и оставить ту тишину, в которой он был сделан. – Он выпрямился. – Это и есть реставрация. Остальное ремесло.

Скопин сделал шаг вперёд. Он стоял в полутора метрах от клавесина, и в светлых ледяных глазах, обычно спокойных, зажёгся тот самый блеск, который бывает у ювелира, увидевшего редкий камень. Он слегка наклонился, вытянув шею, и взгляд его скользнул вниз, под изогнутый борт, туда, где между крышкой и корпусом оставалась узкая тёмная щель.

– Позвольте, – сказал он вежливо.

Ланской шагнул вбок.

Это произошло мгновенно, так плавно, что никто, кроме Варвары, не заметил. Он просто сдвинулся на полшага влево, и широкая спина в кожаном фартуке, на секунду, на одну долю, закрыла собой весь левый борт клавесина, ту самую внутреннюю часть крышки, под которой, как говорила Даша, было на три сантиметра меньше, чем снаружи. Скопину пришлось выпрямиться. Он смотрел теперь не на инструмент, а на фартук.

– Эдгар Мартынович, – сказал Ланской. – Вы можете осмотреть всё, что видно. Роспись, ножки, клавиатуру. Это всё к вашим услугам. Но под крышку мы пока не заглянем.

– Почему?

– Потому что там идёт работа. – Голос его был ровный, вежливый, без нажима. – Клей на стыках ещё не просох. Любое движение воздуха может повредить. Мы не имеем права рисковать.

– Конечно, – сказал Скопин. Он улыбнулся. – Простите мою нетерпеливость. Я коллекционер.

– Я знаю.

– Вы знаете меня давно, Кирилл.

– Достаточно, чтобы понимать, чего вы хотите.

Эти слова упали в воздух зала, как камешек в воду, и круги от них, невидимые, пошли по лицам. Белов, красный, перестал вытирать лоб. Нина Захаровна, сидевшая у окна, чуть сильнее сжала палку. Даша рядом с Варварой, не шелохнувшись, перестала дышать. Скопин не изменил выражения лица, только чуть сузил глаза.

– Не всё, что ценно, надо показывать, – добавил Ланской. Он сказал это негромко, глядя прямо на коллекционера, и в голосе его проступило что-то суховатое, почти насмешливое. – Особенно тем, кто знает цену.

– Мудро, – сказал Скопин.

– Это не мудрость. Это опыт.

Они стояли друг против друга, в метре, оба прямые, высокие, оба с лицами, ничего не выражающими, и в тишине четвёртого зала Варвара вдруг услышала то, что слышала всегда: фальшь. Не в словах. В голосах. Скопин говорил мягко, ласково, а под мягкостью, как под бархатом, лежало что-то твёрдое, ожидающее, как сжатая пружина. Ланской отвечал ровно, спокойно, а в этой ровности, едва различимой, на самой границе слуха, дрожало что-то тонкое, неровное, пугающее, как дрожит натянутая слишком сильно струна. Они оба играли. Оба врали. И каждый знал, что другой знает.

– Господа, – встрял Белов, заметно побледнев. – Давайте пить чай. Ниночка, где у нас пряники?

Чай накрыли в пятом зале, за круглым столом, на белой скатерти, и разлила его Нина Захаровна, медленно, тяжело, аккуратно, как разливают дорогое вино. Подали пряники, баранки, варенье в хрустальных розетках, сушки с маком. Все сели. За стеклами окон небо потемнело, и мелкий дождь, который моросил с утра, перешёл в ровную, густую, серую морось, скрывающую набережную. На столе горели свечи в медных подсвечниках, и их огоньки отражались в мокрых стёклах, как далёкие лодки.

Варвара сидела между Дашей и Ниной Захаровной. Напротив устроился Ланской, на его правой руке Скопин, на левой Белов, который то и дело поглядывал на коллекционера, как смотрят на врача, которому предстоит сообщить диагноз. Марина Одинцова и Виктор Гущин вошли последними, без приглашения, и сели в самом конце, на низкую банкетку у стены, не глядя друг на друга. Марина всё ещё была в халате, с покрасневшими обожжёнными руками, и, взяв чашку, не стала пить, а просто держала, как держат что-то тёплое. Виктор, красный, взъерошенный, смотрел на неё и, когда она на секунду подняла глаза, мгновенно опустил, как мальчик, застигнутый за подглядыванием.

– Знаете, Варвара Сергеевна, – сказал Скопин, помешивая чай ложечкой так, что она ни разу не звякнула. – Я бы очень хотел услышать, как вы относитесь к историческим инструментам. Многие музыканты считают их музейным хламом.

– Я не считаю.

– Почему?

– Потому что они хранят то, чего нет в современных. Тембр старости.

– Тембр старости, – повторил он. – Красиво. А вы знаете, что у каждого старинного инструмента есть своя биография? Не только мастер, не только владельцы, но и, если можно так выразиться, тайны. – Он слегка наклонился. – Вот, например, этот клавесин. Венеция, тысяча семьсот сорок шестой. Он принадлежал домашнему оркестру князя Ратнева, у которого был капельмейстер, крепостной, по фамилии Ильин. Фёдор Ильин. Композитор, как говорят, талантливый. Умер в тысяча семьсот восемьдесят пятом, и от него не осталось ни одной ноты.

– Ни одной?

– Ни единой. Его произведения исчезли после пожара в усадьбе Ратневых в девяносто седьмом. Остались только упоминания. «Ильин, Фёдор. Сонаты для клавесина. Рукопись утрачена». Это, знаете ли, одна из самых больших загадок русской музыки. Вы не слышали?

– Нет.

– Жаль. – Он отпил чай. – Я собираю такие вещи. Утраченное. Это моя слабость.

– Эдгар Мартынович, – сказал Ланской. Голос был ровный, спокойный, без жёсткости. – Вы же знаете, что рукописи утрачены.

– Я знаю то, что написано в литературе. – Скопин поставил чашку. – Но написано, как вы понимаете, не всё.

Тишина за столом стала плотной, звенящей. Нина Захаровна опустила глаза. Белов беспокойно заёрзал. Варвара, сидевшая рядом, увидела, как пальцы старушки, лежавшие на коленях, медленно, почти незаметно сжались в кулак, и тут же разжались. Ланской смотрел на коллекционера, не мигая.

– Если бы в этом доме что-то и было, – сказал он, – оно принадлежало бы музею. Не вам.

– Конечно.

– Тем более не мне.

– Я никогда не говорил, что вам.

– Значит, мы договорились.

– Безусловно.

Они посмотрели друг на друга. Потом Скопин улыбнулся, мягко, чуть печально, и поднял чашку. Ланской кивнул. Белов, весь в поту, с облегчением вздохнул и принялся разливать варенье.

Варвара смотрела на них и слышала: где-то в глубине этого мирного чаепития, под тихим звоном ложечек, звучала вторая тема, глухая, подспудная, как бас в органной фуге. Она не знала, о чём. Но знала, что слышит.

– Вы играете сегодня? – шепнула ей Даша, наклонившись.

– Нет. Завтра.

– Тогда вы свободны. Пойдёмте, я покажу вам дом.

Они вышли в анфиладу. В первом зале было совсем темно: окна здесь выходили на двор, куда не доходили даже сумерки, и в мокрых стёклах отражались только размытые огоньки. Даша включила тусклую лампу над витриной с гуслями, и в её свете струны на старинных инструментах вспыхнули, как тонкие серебряные нити. Они шли по паркету, который скрипел

под ногами, как половицы в деревенской избе, мимо витрин, мимо гитар, мимо труб. Даша рассказывала: в этой гитаре четыре отпечатка пальцев мастера на внутренней деке, их нашли при реставрации; в этой волынке в мешке нашли записку, зашитую в шов, с надписью «Мария, прости»; в этой скрипке дыра в боку, пробитая в блокаду, когда осколок попал в витрину, и никто не решился её заделывать, потому что «это тоже её биография».

– Вы всё знаете, – сказала Варвара.

– Я не всё. – Даша остановилась перед маленькой витриной с лютней. – Я знаю то, что можно увидеть. Для этого нужно только смотреть. Не на красоту. На швы.

– Как тебя Ланской терпит?

– Не терпит. Он меня учит. Просто никогда не скажет. – Она усмехнулась. – Знаете, что он мне сказал в первый день? «Дарья Николаевна, у вас дрожат руки». Я сказала: «От волнения». Он сказал: «Это не волнение. Это страх. Бойтесь, но работайте». – Она помолчала. – Мне это очень помогло.

– Он хороший учитель.

– Он хороший реставратор. Учитель разный. – Она посмотрела на Варвару. – Марина говорит, что он присваивает чужие идеи. Не всегда, но бывает. Она в музее десять лет. Придумала метод для очистки эбонита, а в отчёте написано «Ланской К. А.». Она не жаловалась. Только курить стала по ночам.

– Она курит?

– В подвале. Думает, никто не знает. – Даша вздохнула. – А Витя в неё влюблён. Все знают, кроме неё. Он, бедный, не может нормально говорить. Я ему сказала: пригласи на кофе. Он сказал: «Н-не могу, она старше». Я сказала: «Ей сорок один, тебе двадцать восемь, это тринадцать лет, не тридцать». Он сказал: «Это в-всё равно». Дурак.

Варвара засмеялась. Даша хмыкнула, и в уголке рта у неё мелькнула та самая тень.

В конце анфилады, за поворотом, где коридор сужался, виднелась низкая белая дверь с табличкой «Фонд. Посторонним вход воспрещён». Рядом, на стене, висел щиток с электронной панелью и маленьким экраном, на котором мигали зелёные цифры. Даша остановилась.

– Это кабинет Нины Захаровны, – сказала она. – Здесь у неё реестры. Карточки хранятся в сейфе. Вот. – Она показала на экран. – Видите? Четырнадцать зелёных точек. Это активные карточки. Одна красная.

Варвара присмотрелась. Среди ровного ряда зелёных огоньков действительно горел один красный, в самом конце, подписанный «№14».

– Потерялась, – сказала Даша. – В марте. Это запасная карточка Ланского. Нина Захаровна говорит, что она ему выдала, а он потерял. Ланской говорит, что вернул. Ругались две недели. Белов их мирил. Карточку заблокировали, а новую так и не выдали, потому что Белов решил, что хватит одной. Теперь у Ланского только основная.

– Её могли найти.

– Могли. Но никто не пользовался. Система регистрирует каждый вход. Если бы кто-то вошёл с ней, мы бы знали.

– Могли заблокировать, а она работает?

– Нет. Заблокирована полностью. – Даша пожала плечами. – Просто красная лампочка – это напоминание. Нина Захаровна её не снимает. Говорит: «Пусть горит. Чтобы все помнили».

Они постояли, глядя на красный огонёк. Из-за двери, из кабинета, тихо, чуть слышно, послышалось шуршание: Нина Захаровна, видимо, вернулась к себе. Потом скрипнуло кресло.

– Пойдёмте, – сказала Даша. – Вам пора. Ольга Марковна, наверное, ужин приготовила.

Они вернулись в пятый зал за курткой. Чаепитие заканчивалось. Скопин, уже в тёмном плаще и шляпе, пожимал руку Белову, которому, судя по лицу, предстоял тяжёлый вечер объяснений с кем-то, кто, видимо, ждал его на другом конце города. Нина Захаровна, у окна, застёгивала кардиган. Марина с Виктором ушли. Ланской стоял у камина спиной ко всем, глядя в огонь, и в позе его, прямой, напряжённой, как у человека, несущего что-то слишком тяжёлое, чувствовалась усталость.

Скопин, проходя мимо, остановился.

– Кирилл, – сказал он негромко, так, что слышали только те, кто стоял рядом. – Вы обещали.

– Я ничего не обещал, Эдгар Мартынович.

– Консультации...

– Были консультации.

– Я заплатил.

– За время. Не за то, что вы просите.

Скопин помолчал. Лицо его оставалось любезным, улыбка не сходила, но светлые глаза чуть потемнели.

– Мы поговорим позже, – сказал он.

– Как хотите.

– До свидания, Кирилл.

– До свидания.

Он ушёл. Дверь за ним закрылась без звука, и в зале, пахнувшем воском и вареньем, наступила та особая тишина, которая бывает после отъезда нежеланных гостей. Белов, шумно выдохнув, тяжело опустился на кушетку и достал платок. «Господи, – пробормотал он. – Господи». Нина Захаровна медленно, с трудом, поднялась, оперлась на палку и, не говоря ни слова, ушла к себе.

Ланской обернулся. Он стоял у камина, высокий, прямой, с лицом, на котором уже не было ни насмешки, ни надменности, только усталость, глубокая, тёмная, как тень в колодце. Взгляд его скользнул по залу, по свечам, по недопитым чашкам и остановился на Варваре, которая надевала куртку.

– Варвара Сергеевна, – сказал он.

– Да.

– Подойдите на минуту.

Она подошла. Он смотрел на неё внимательно, пристально, как смотрят на инструмент перед настройкой, и в карих глазах, при свете камина, блестели золотые точки.

– Вы слышите, – сказал он тихо. – Дашенька мне сказала. Не просто слух. Вы слышите то, что за звуком.

– Не знаю.

– Знаете. Я видел вас сегодня. Вы слушали нас с Эдгаром так, как слушают двоих, которые говорят не то, что думают. – Он усмехнулся, коротко, сухо. – Не отрицайте. Я не обижусь. Это тоже профессия.

– Мне просто интересно.

– Конечно. – Он помолчал. Потом, сделав неожиданный шаг ближе, понизил голос так, что она едва расслышала: – Завтра у вас прослушивание?

– Откуда вы...

– Даша. Она ничего не скрывает, кроме того, что надо. Хорошо играйте. А потом, в пятницу, приходите. Утром. К девяти. Я проведу вас сам. Покажу вам то, что нельзя показывать.

– Что?

– Не вслух, – сказал он. – Сначала сыграйте. Мне нужно, чтобы вы пришли с чистой головой. И с чистыми ушами.

– Кирилл Андреевич...

– Реставратор тишины, – произнёс он и вдруг улыбнулся, очень тепло, по-человечески, и на секунду стало видно, что ему не пятьдесят девять, а тридцать, и что он когда-то мечтал о

чём-то совсем другом. – Это красиво звучит, правда? Я сам придумал. Но на самом деле это просто человек, который знает, как важно вовремя замолчать.

Он слегка поклонился.

– В пятницу. Девять утра. Чёрный ход. Дашенька проведёт.

– Хорошо.

– Прекрасно.

Он отвернулся к камину. Огонь горел ровно, ярко, и в нём плясали синеватые язычки, и по стенам зала, по высоким окнам, по золотым рамам с потемневшими картинами бегали тёплые, мягкие, тревожные тени. За окном моросил дождь. Капало с карниза в ведро: кап, кап, кап. Варвара вышла в коридор, где её ждала Даша, и они молча, не глядя друг на друга, спустились по парадной лестнице под розовыми амурами, один из которых по-прежнему держал в руках рогатку.

У подъезда, на крыльце, всё ещё сидел Фагот. Блюдце с молоком опустело, и кот, свернувшись клубком, спал, подставив мокрую спину дождю. Вахтёрша Анна Викторовна, увидев их, вышла из-под козырька с огромным зонтом и сказала: «Идите осторожнее, на набережной скользко». Они вышли. Мойка внизу текла тёмная, полная дождя, и по ней, как по чёрному зеркалу, скользили огни фонарей.

– Что он вам сказал? – спросила Даша.

– Что покажет что-то. В пятницу.

– Он мне тоже обещал. Полгода. – Она шла, сунув руки в карманы, глядя себе под ноги. – Странно. Он никогда никому ничего не обещает.

– Может быть, торопится.

– Может быть. – Даша остановилась на углу, у мостика. – Варвара Сергеевна. Вы услышали?

– Что?

– Что-то. Там, в зале. Вы побледнели.

Варвара не сразу ответила. В ушах ещё звенело, чисто и тонко, как от прикосновения к хрустальному бокалу, то, что она слышала в голосе Ланского, когда он сказал «Не всё, что ценно, надо показывать». Не фальшь. Страх. Он боялся. Не Скопина, не Белова, не потери места. Он боялся чего-то, что стояло за его спиной в четвёртом зале, под тёмным лаком и тонкой золотой лентой, и это что-то он берёг, как берегут спящего ребёнка.

– Он знает, что в клавесине что-то есть, – сказала она.

– Я тоже думаю.

– И он боится, что кто-то узнает.

– Скопин.

– Или не только.

Даша кивнула. Они стояли на углу, под фонарём, и дождь тихо, мелко, как пудра, оседал на жёлтом плаще. Мимо проехал велосипедист, обдав их брызгами. Где-то над рекой закричали чайки.

– Идите спать, – сказала Даша. – Вам завтра играть.

– Ты тоже.

– Я никогда не сплю перед важными днями.

– Это значит, что у тебя завтра важный день?

– Нет, – сказала Даша. – У вас.

Она повернулась и пошла по мосту, быстро, размашисто, жёлтое пятно её плаща качалось над чёрной водой, как фонарик. Варвара смотрела ей вслед, пока она не исчезла за углом. Потом достала из кармана конфету, ту, мятную, развернула и положила в рот. Холодная, острая сладость растеклась по языку. Над головой в ветвях старого тополя, ещё голого, мокрого, сидели две вороны, и одна, склонив голову набок, смотрела на неё внимательно, чёрным блестящим глазом.

– Что? – спросила она вслух. – Тоже слушаете?

Ворона ничего не ответила. Но откуда-то из-за Мойки, из-за домов, издалека, донёсся глухой ровный удар колокола: на какой-то церкви, готовящейся к Пасхе, отбивали вечерню. Она посчитала. Раз. Два. Три. Не шестьдесят в минуту, чуть медленнее. Она остановилась и впервые за весь день, а может быть, за всю неделю, не стала считать. Просто слушала, как над городом, над мокрыми крышами, над тёмной водой, колокол отзванивает время, которого у неё было достаточно.

Глава 4

Лёд на Малой Невке пошёл в четыре утра. Варвара лежала под лоскутным одеялом с открытыми глазами и услышала это раньше, чем поняла, что слышит: сначала далёкий глухой скрежет, как будто за окном двигали шкаф размером с дом, потом сухой короткий треск, потом долгий вздох воды, которая принимала на себя то, что на неё положили зимой. Скрипка на стене, та, что с надписью «Ленинград, 1953», отозвалась тонким звоном, еле различимым, и Варвара подумала, что скрипка тоже не спит.

Она пролежала так до шести, слушая, как лёд ломается и уходит. Потом встала, умылась ледяной водой, натянула чёрные брюки и белую блузку, которая лежала в чемодане завёрнутая в полотенце, и достала из кармана куртки красные шерстяные носки с оленями. Некоторое время она держала их в руках. Подарок Тамары, забытый на трубе, привезённый через метель человеком с обмороженными пальцами. Под брюками их никто не увидит. Она надела.

– Что у тебя на ногах? – спросила Ольга Марковна из дверей кухни.

– Ничего.

– Красное, – сказала Ольга Марковна. – С рогами.

– Это для уверенности.

– А. – Она кивнула без малейшего удивления, как кивают, когда слышат правильный ответ. – Эмилия Карловна тебе велела?

– Откуда вы знаете?

– Я её три раза слышала по телефону. Она сказала про платье. Мне хватило. Идите есть кашу.

На кухне стояла тарелка манной каши с комочком масла посередине и стакан чая в подстаканнике. Варвара села, посмотрела на кашу, потом на хозяйку, которая устроилась напротив с алюминиевой кружкой и незажжённой папиросой.

– Я не ем перед выступлением.

– Ешь. Пустой желудок слышен в нижнем регистре.

– Это неправда.

– Это правда. Я сорок лет слушала виолончелистов, которые отказывались завтракать. Они играли как голодные. – Ольга Марковна подвинула к ней ложку. – Ешь, и я скажу тебе то, что должна.

Варвара ела. Каша была густая, чуть пересоленная, с корочкой на краях тарелки, и от первых ложек по телу разошлось то особое сонное тепло, какое бывает после ночи на вокзале. Ольга Марковна молчала, пока она не доела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.